

Алексей Шейко

МЕЖДУ УДАРАМИ

ДВА МИРА
ДВЕ ПРАВДЫ
ОДИН ВЫБОР

СТАТУС — НЕ ВЛАСТЬ.
УВАЖЕНИЕ — СИЛА.

詠春



Алексей Шейко

Между ударами

<https://litres.ru/74631648>

SelfPub; 2026

Аннотация

Алексей Хоторов отказывается от игры, в которую Катю Морозову ещё никто не отказывался играть — и за этим отказом явно стоит что-то большее, чем простое равнодушие к статусу. Катя привыкла использовать людей как разменную монету в своей свите, но этот новичок с окраины не боится её власти и говорит вещи, которые застревают в голове на несколько дней. Чем больше она пытается задеть его, тем яснее понимает: броня, которую она носит с детства, держится не так крепко, как казалось. За её спиной стоит отец, готовый контролировать дочь как актив и скрывающий собственное прошлое, которое он не намерен выпускать наружу. Чем ближе Катя подходит к Алексею, тем выше цена, которую может потребовать отец за право выбирать самой. Что прячет Александр Морозов и чего ему будет стоить потерять контроль над дочерью?

Содержание

Глава 1.	4
Глава 2.	28
Глава 3.	56
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Алексей Шейко

Между ударами

Глава 1.

Audi Q8 вписывается в пятачок у главного входа легко, будто пространство само отодвигается, освобождая место. Знака «парковка запрещена» здесь нет — его и не нужно, все и так знают, что здесь не паркуются. Охранник у шлагбаума, пожилой, с лицом, будто выглаженным усталостью, кивает ей сквозь лобовое стекло так, как кивают человеку, от которого не ждут проблем и которому их не создают.

Катя глушит двигатель, проверяет в зеркале помаду — не съехала ли, хотя знает, что не съехала, — и выходит из машины в то декабрьское утро, когда снег на Проспекте Вернадского лежит грязными островками вдоль бордюров, а воздух пахнет мокрым асфальтом и чужими сигаретами.

В холле её уже ждут. Не потому, что договаривались — потому что так заведено.

— Твой, — говорит Вика, протягивая стакан с логотипом Correct, раф на миндальном, без сахара, именно так, как Катя пьёт его три года подряд и ни разу не меняла привычку, хотя иногда думает, что хорошо бы изменить хоть что-нибудь. Вика сегодня в коротком пуховике цвета слоновой ко-

сти, волосы забраны так небрежно, что сразу видно — на эту небрежность ушло минут сорок перед зеркалом.

— Семинар по международному праву перенесли на два, лекция Воронцова осталась на месте, — отчитывается Рома, не здороваясь, будто это продолжение вчерашнего разговора, которого на самом деле не было. У него в руках телефон, и он смотрит в него, а не на Катю, пока говорит, — поза человека, который докладывает начальству, а не разговаривает с подругой.

Катя берёт стакан, кивает, не благодарит — благодарность здесь была бы странной, как если бы благодарить руку за то, что она подняла ложку.

Она думает иногда — не часто, но в такие минуты, как эта, когда вокруг снова расступается пространство — что статус, это не то, что у тебя есть. Деньги отца, фамилия, квартира в центре с видом на Москву-реку — всё это только декорации. Настоящий статус в другом: в том, что все вокруг боятся потерять твоё внимание больше, чем боятся потерять что-то своё. Вика могла бы дружить с кем угодно на курсе. Рома мог бы носить кофе кому-то другому. Но они здесь, у этого стакана, у этого расписания, потому что отвернись Катя — и они перестанут существовать в том виде, в каком существуют сейчас.

Она не отворачивается. Это и есть власть — не действие, а воздержание от действия.

Мимо проходит первокурсник, долговязый, и смотрит на

неё на секунду дольше, чем позволено смотреть на людей её уровня. Катя не делает ничего — просто переводит взгляд на него, спокойно, без раздражения, ровно настолько холодно, чтобы он понял: граница существует, и он её коснулся. Первокурсник отводит глаза первым, краснеет, ускоряет шаг. Ей не нужно было произносить ни слова. Слова — для тех, кто ещё не выучил язык иерархии.

— Кать, — Вика понижает голос, подходя ближе, так что от неё пахнет новыми духами, кажется, Byredo, что-то цветочно-перечное, — у нас новенький появился. Перевёлся то ли с юрфака, то ли вообще не из МГИМО, прикинь.

— И что? — Катя делает глоток кофе. Он чуть горчит, как всегда, как ей нравится.

— Да ничего особенного, не наш круг, судя по всему, — Вика морщит нос, будто речь идёт о чём-то неаппетитном, — но посмотреть можно. Высокий такой, спортивный.

— Спортивный, — повторяет Катя без интереса, вроде пробуя слово на вкус и находя его пресным.

Рома поднимает глаза от телефона, впервые за весь разговор.

— Хоторов, кажется. Алексей. Из группы по международным экономическим, у Воронцова как раз.

Фамилия проходит мимо сознания, не задевая ничего. Новенькие появляются каждый семестр — кто-то с периферии, кто-то по обмену, кто-то сын человека, который решил, что ребёнку нужна московская прописка в резюме. Через

неделю станет ясно, кто он: либо впишется, либо растворится в массе тех, кого никто не помнит по имени. Обычно второе.

— Ладно, — говорит Катя, бросая взгляд на часы — без четверти десять, значит, пора. — Идём, а то Воронцов опять начнёт с занудства про санкционные режимы.

Она допивает кофе на ходу, идёт через холл так, как ходит всегда — не торопясь, но так, что остальные расступаются сами, без необходимости расталкивать. Вика пристраивается слева, Рома чуть сзади, и троём они движутся через коридор, мимо досок с объявлениями о стажировках в МИД и Газпромбанке, мимо витрины с кубками дебат-клуба, в котором Катя в прошлом году выиграла финал, хотя подготовкой почти не занималась — хватило уверенности, с которой она произносила заведомо слабые аргументы.

У дверей аудитории Вика ещё раз шепчет что-то про новенького — кажется, «видела в столовой, ел один», — но Катя уже не слушает по-настоящему. День обещает быть таким же, как вчера, и позавчера, и неделю назад: лекции, перерыв в кофейне на Остоженке, вечером, возможно, ужин с родителями, где отец будет рассказывать про очередную сделку, а мать — вежливо кивать, думая о чём-то своём.

Она толкает дверь аудитории плечом, не глядя, привычным движением, и входит внутрь так, как входят в комнату, которая уже заранее знает, кто в ней главный.

* * *

Кафе при факультете пустеет к середине перерыва — основная масса уже разошлась по аудиториям, остаются только те, кто считает, что имеет право опаздывать. Катя занимает столик у окна, тот самый, за которым всегда сидит, хотя никто и никогда не вешал на него табличку с её именем. Света уже притащила себе капучино с корицей, Вика ковыряет вилкой чизкейк, который заказала, но есть явно не собирается, — для фигуры, не для удовольствия. Рома садится последним, разворачивает стул спинкой вперёд, как будто это добавляет ему веса.

— Короче, кто у нас в этом семестре лишний, — говорит Вика, не глядя ни на кого конкретно, таким тоном, каким объявляют начало какой-нибудь ежегодной традиции. — Серьёзно, обычно к этому времени уже понятно, кто свой, а кто так, мимо проходил.

— Та, с третьего курса экономфака, с косой, — подаёт голос Света, — Леночка какая-то. Весь семестр в библиотеке сидит, как будто ей за это стипендию удвоят.

— Леночка не в счёт, она давно никому не мешает, — отмахивается Вика. — Я про новеньких.

Рома наклоняется чуть вбок, указывает подбородком в сторону окна, за которым виден кусочек коридора и доска расписаний.

— Вон, кстати, твой сегодняшний Хоторов идёт.

Катя поворачивает голову без спешки, будто это стоит ей какого-то труда. За стеклом, у витрины с кубками дебат-клу-

ба, стоит высокий парень в простой тёмной куртке — не от какого-то бренда, который можно считать, просто куртка, без логотипа, без претензии. Джинсы, обычные кроссовки, никакого рюкзака с именными застёжками, только обшарпанная сумка через плечо. Он читает что-то на телефоне, стоит один, и в этом «одном» нет ни нервозности, ни желания привлечь внимание — он просто стоит так, как будто компании ему и не нужно.

— Боже, посмотрите на куртку, — хихикает Света, — это же прошлый век какой-то. Zara, max.

— Угадала с точностью до года, — соглашается Вика. — Я узнавала, кстати. На бюджет попал, стипендиат. Живёт где-то в Бутово, представляете, каждый день по часу с лишним сюда тащится.

— Бутово, — повторяет Рома с той интонацией, с которой произносят названия стран, в которых никогда не бывали и бывать не планируют.

Катя смотрит ещё секунду, потом отводит взгляд к своему кофе, хотя по инерции в голове остаётся картинка — прямая спина, спокойные плечи, никакой суеты в том, как он держит телефон. Обычно у новичков это выдаёт себя сразу: либо слишком много жестов, либо слишком мало, либо взгляд бегаёт, ищет, на кого ориентироваться. У этого ничего такого не читается. Он просто существует в пространстве, которое его, кажется, вообще не беспокоит.

— И что, — говорит Катя, — вы предлагаете мне заняться

антропологией?

— Я предлагаю, — Вика отодвигает чизкейк, наконец признав поражение, — развлечься немного. Семестр скучный, Кать, признай. Санкционные режимы, курс Воронцова, все эти стажировки, которые все уже обсудили по сто раз. А тут новенький, скромный, стипендиат, деревня-деревней. Идеальная мишень.

— Для чего?

— Для игры, — Вика наклоняется вперёд, и в глазах у неё загорается тот самый азартный блеск, который Катя видела десятки раз перед экзаменами, перед вечеринками, перед любой возможностью немного подёргать кого-то за ниточки. — Ты подходишь, изображаешь интерес. Не прямо так в лоб, а постепенно. Он же нормальный пацан, не идиот, но и звёзд с неба не хватает, судя по виду — он купится. А потом, когда он уже начнёт о тебе мечтать, мы всё это красиво... ну, обнарудуем. Перед всеми. Представляешь лицо? Рома хмыкает, не отрываясь от телефона.

— Это может быть забавно, — говорит он без особого энтузиазма, скорее констатируя факт, чем предлагая.

Катя молчит, вертит в пальцах пластиковую крышечку от стаканчика. В голове прокручивается немедленный и честный ответ: цель слишком мелкая. Парень из Бутово, со стипендией и курткой из позапрошлого сезона, — не тот противник, на которого стоит тратить силы. Это как целиться из охотничьего ружья в воробья: можно, конечно, но зачем.

Весь смысл её статуса в том, чтобы связываться только с теми, кто имеет значение, чьё падение будет заметно, чьё унижение станет темой разговоров на неделю вперёд. А этот просто исчезнет через семестр, никто и не вспомнит.

Но скука — вещь настойчивая. Она въедается в день, как сырость в стены старого дома, и заставляет искать развлечение хоть в чём-нибудь, пусть даже недостойном. К тому же отказаться означает признать, что ей скучно настолько, что даже такая мелкая провокация её не трогает, — а это хуже, чем согласиться. Это значит показать слабинку перед своими же.

— Ладно, — говорит она, пожимая плечами с таким видом, будто делает одолжение. — Развлекитесь. Только учтите, это на один раз, мне неинтересно будет цацкаться с ним весь семестр.

Вика взвизгивает тихонько, по-кошачьи, довольная, как будто ей только что подарили что-то дорогое.

— Отлично! Тогда с чего начнём?

— С сегодня, — говорит Катя, допивая остывший кофе одним движением. — У Вербицкого семинар по международным финансам, он там будет, я видела его в списке группы. Подойду после пары, как бы случайно.

— А если он совсем не поведётся? — спрашивает Света с лёгким сомнением, кажется, впервые за весь разговор проявляя какую-то аналитическую способность.

— Повеётся, — отвечает Катя и смотрит в окно, туда, где

минуту назад стоял парень в простой куртке, хотя его там уже нет. — Они все ведутся.

Она произносит это так, как произносят давно заученную фразу, не требующую доказательств, — просто потому, что до сих пор так было всегда.

* * *

Аудитория семинарского корпуса набирает народ медленно, с той ленивой инерцией утра понедельника, когда никто не торопится занять первый ряд. Катя входит одной из последних — не потому, что опаздывает, а потому, что умеет рассчитывать время так, чтобы её появление заметили, но не подумали, что она старалась. Она садится по диагонали, через проход и два ряда назад от того места, где уже устроился Хоторов — так, чтобы видеть его профиль, не поворачивая головы, достаточно скосить глаза.

Первое, что она отмечает: часы у него на запястье — механические, не из тех, что носят напоказ, скорее из тех, что достались от кого-то и донашиваются из принципа. Телефон, который он кладёт на край стола экраном вниз, — не новый, задняя панель матовая от царапин, таким пользуются года три, не меньше. Рюкзак на соседнем стуле вытерт по углам до блеска, один ремень когда-то порвался и был прошит вручную, грубым стежком, явно не в мастерской. Катя смотрит на всё это с тем же холодным вниманием, с каким читает финансовую отчётность: не из любопытства, а потому что детали всегда рассказывают больше, чем люди готовы сказать

сами.

Она ждёт, что он обернётся. Новенькие всегда оборачиваются — ищут, где сидит компания, которая решает, кто здесь свой, а кто просто присутствует. Рома рассказывал, что Хоторов уже вторую неделю на потоке, и за это время должен был успеть просчитать расстановку сил хотя бы по верхам. Но он не оборачивается. Не смотрит в сторону Вики, которая устроилась двумя рядами выше с преувеличенно скучающим видом, не ищет взглядом Катю, не бросает ни одного из тех коротких, воровских взглядов, которыми обычно меряют дистанцию до чужого величия.

Он открывает тетрадь — бумажную, не планшет, — и начинает что-то писать, ещё до того, как профессор произносит первое слово.

Это задевает больше, чем должно бы. Катя ловит себя на мысли, что ждала реакции — хоть какой-то, пусть неловкой, пусть излишне старательной, — а вместо этого получает полное отсутствие интереса к собственной персоне, и это настолько непривычно, что на мгновение теряется, с чего вообще начинать разговор, который был спланирован ещё за столиком в кафе.

Обычно схема работает одинаково. Либо мальчики жмутся, краснеют, роняют ручки, когда она случайно задевает их локтем в коридоре, либо, наоборот, начинают сыпать шутками чуть громче, чем нужно, оборачиваться на каждую реплику, проверять, заметила ли она их остроумие. И то и дру-

гое — форма одной и той же зависимости, просто разные симптомы. А этот просто делает пометки на полях, подчёркивает что-то в столбике цифр, будто в аудитории, кроме него и профессора, никого больше нет. Будто её свиты — с их статусами, брендами и правом решать, кто имеет значение, а кто нет, — попросту не существует.

— Итак, — говорит Вербицкий, раскладывая на кафедре стопку распечаток, — сегодня мы разбираем динамику суверенных рейтингов развивающихся экономик за последние пять лет. Кто скажет мне, почему агентства реагируют на политические риски быстрее, чем на фискальные?

Катя поднимает руку почти машинально, отвечает что-то про премию за неопределённость, про то, что рынок закладывает худший сценарий раньше официальной статистики — фразы приходят сами, без усилия, она произносила их десятки раз на похожих семинарах. Голос звучит уверенно, профессор кивает, довольный, ставит плюс в журнале напротив её фамилии. А мысли в это время заняты совсем другим: как подойти, чтобы не выглядело нарочито; что сказать первым, чтобы зацепило, но не спугнуло; стоит ли упоминать общих знакомых, которых на самом деле нет, или лучше обойтись без предисловий.

Она проговаривает про себя несколько вариантов фраз, отбраковывает один за другим — слишком похожи на заготовку, слишком пахнут тем самым планом, который придумали за столиком в кафе. Хоторов тем временем снова что-

то подчёркивает в тетради, абсолютно ровно, без единого взгляда в её сторону, и от этого спокойствия у неё начинает чесаться где-то под рёбрами то самое чувство, которое она привыкла называть азартом, хотя подозревает, что оно куда ближе к раздражению.

Звонок разрывает лекцию на середине фразы Вербицкого про дефолтные спреды. Аудитория приходит в движение разом: хлопают крышки ноутбуков, шуршат куртки, кто-то уже набирает сообщение, не выходя из ряда. Хоторов закрывает тетрадь, убирает её в рюкзак неторопливым, почти ритуальным движением, будто в запасе целый день, а не десять минут до следующей пары.

Катя решает не тянуть. Она поднимается, перекидывает сумку через плечо, коротко проверяет взглядом, что Вика с Ромой достаточно далеко, чтобы не слышать первых слов, но достаточно близко, чтобы видеть саму сцену целиком, и идёт вдоль ряда — через проход, мимо чужих стульев — туда, где он застёгивает молнию на рюкзаке, не замечая, что к нему уже направляются.

* * *

Он поднимает голову раньше, чем она успевает заговорить, — не вздрагивает, не теряется, просто смотрит снизу вверх с таким выражением, будто давно ждал, что кто-то подойдёт, и ему, в общем, всё равно, кто именно.

— Привет, — говорит Катя, разворачивая ту самую полуулыбку, которую обычно включает на автомате, как пово-

ротник. — Катя Морозова.

— Знаю, — отвечает он без паузы, застёгивая молнию рюкзака. Не хвастливо, не заискивающе — просто констатирует факт, как номер аудитории на двери.

Она на секунду теряется от того, с какой лёгкостью он отказался от ритуала узнавания, который для остальных обычно растягивается на пару реплик, полных нарочитого удивления. Но тут же берёт себя в руки, садится на край соседней парты, закидывает ногу на ногу — поза, которая работает безотказно на первом курсе, да и не только на первом.

— Ты тут недавно, — продолжает она, — факультет большой, запутаться легко. Могу показать, что тут и как. Где нормальная столовая, а где травят. Какие семинары реально важны, а на каких можно спать. С кем стоит дружить, а с кем — нет.

Это стандартный заход, отработанный на десятке таких же. Обычно после него либо смущаются и благодарят с придыханием, либо напрягаются и начинают отшучиваться слишком громко, явно польщённые тем, что сама Морозова снизошла. Оба варианта её вполне устраивают — оба дают материал для следующего шага.

Алексей закидывает рюкзак на одно плечо, поднимается — он выше, чем казался сидя, но не пользуется этим, не нависает, просто стоит на расстоянии, которое ей самой пришлось бы назвать нейтральным.

— Спасибо, — говорит он, — но я уже разобрался. Тут

не так сложно, как кажется со стороны.

Голос ровный, без той интонации, которую она привыкла считать за полсекунды, — ни вызова, ни попытки понравиться. Просто информация, переданная и закрытая.

Катя чувствует, как внутри что-то слегка сбивается с привычного ритма, будто она делала шаг на ступеньку, а ступеньки не оказалось. Она переспрашивает, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало удивление:

— Ты уверен? Тут своя иерархия, знаешь. Легче, когда кто-то показывает карту, чем изучать всё методом тыка.

— Может быть, — отвечает он, глядя ей прямо в глаза — не вызывающе, скорее с тем самым спокойствием, которое раздражает сильнее любой дерзости. — Но карты обычно рисуют те, кому выгодно, чтобы ты шёл по их маршруту.

Она чуть прищуривается, пытаясь понять, шутит он или нет — но лицо у него остаётся таким же ровным, как и минуту назад, без намёка на иронию или подтекст. Это злит больше, чем если бы он откровенно хамил.

— Испугался, что ли? — бросает она, чуть склонив голову, с той самой лёгкой провокационной улыбкой, которая обычно заставляет новичков суетиться, оправдываться, доказывать что-то невидимому жюри. — Я же не кусаюсь. Пока.

Он молчит секунду — не растерянно, а будто взвешивая, стоит ли вообще отвечать на это, или проще пропустить мимо. Потом качает головой, почти незаметно.

— Нет, — говорит он. — Просто не вижу смысла играть в игру, которую не я придумал.

Фраза падает в тишину аудитории так же буднично, как до этого про карту. Катя чувствует лёгкий холодок где-то в груди, будто кто-то потянул за нитку, о существовании которой она не подозревала.

— Какую игру? — переспрашивает она, хотя уже понимает, что вопрос звучит слишком быстро, слишком остро для того безразличия, которое она хотела изобразить.

— Ту самую, — отвечает он, поправляя лямку рюкзака, — где новенького нужно либо напугать, либо приручить, чтобы потом было что обсуждать за столиком в кафе. — Он коротко кивает в сторону окна, у которого, она знает без необходимости оборачиваться, маячат Вика и Рома, делающие вид, что увлечены разговором. — У тебя и так достаточно компании для таких развлечений. Поищи жертву среди своих.

Он произносит это без злости, без превосходства, почти по-доброму, как будто советует, какую дорогу выбрать, чтобы не попасть в пробку. И от этой интонации — именно от неё, а не от самих слов — у Кати на мгновение перехватывает дыхание, как будто она открыла дверь, ожидая увидеть пустую комнату, а там кто-то сидит и давно всё знает.

Она открывает рот, чтобы ответить — есть же у неё в запасе дюжина фраз на случай, если кто-то начинает дерзить, — но ни одна не складывается, все кажутся либо слишком резкими, либо слишком жалкими, либо просто неуместны-

ми после того, что он только что сказал так буднично, будто речь шла о погоде.

Алексей коротко кивает, как ставят точку в разговоре, который для него уже закончен, и уходит к выходу из аудитории — не спеша, не оглядываясь, с той же ровной спиной, с какой сидел всю лекцию.

Катя остаётся стоять у пустой парты, чувствуя, как привычный сценарий рассыпается где-то внутри, не оставляя взамен ничего, кроме звенящей, неприятной тишины, в которой она впервые за очень долгое время не знает, что сказать.

* * *

Коридор встречает её гулом голосов и запахом кофе из Correst, который Вика уже успела заказать на троих — третий стаканчик ждёт на столике, нетронутый, с её именем на боку. Катя идёт к ним тем же шагом, которым входила утром в холл: спина прямая, подбородок чуть приподнят, на губах та самая полуулыбка, которая не выражает ничего конкретного и потому годится для любого случая. Лицо держится без усилий — она тренировала это годами, задолго до МГИМО, ещё в школе, где каждое выражение проверялось зеркалом в ванной перед выходом.

— Ну? — Вика подаётся вперёд, не дожидаясь, пока Катя сядет, глаза блестят азартным любопытством, как у человека, который заплатил за билет и теперь требует зрелища. — Что он сказал? Краснел? Лепетал?

Рома молчит, но смотрит внимательно, явно ожидая того же — истории, которую можно будет пересказывать потом, с подробностями, обрастающими при каждом новом рассказчике. Света помешивает свой кофе ложечкой, хотя сахар давно растворился, и тоже косится на Катю снизу вверх.

Катя садится, закидывает ногу на ногу, берёт стаканчик, не торопясь сделать глоток — пауза работает на неё лучше любых слов, она знает это по опыту.

— Деревня, — говорит она наконец, пожимая плечом, будто речь идёт о чём-то настолько мелком, что и обсуждать скучно. — Буркнул что-то про то, что справится сам. Ни спасибо по-человечески, ничего. Такой весь из себя гордый бедняк, посмотрелся сериалов про честь.

Вика фыркает, довольная — именно такого ответа она и ждала, укладывающегося в привычную схему: новичок либо ломается, либо кочевряжится и этим ещё смешнее. Рома хмыкает, качает головой с видом человека, подтвердившего собственную теорию.

— Я же говорил, — Рома разворачивается всем корпусом к Вике, — таких лучше вообще не трогать. Себе дороже возиться.

Катя кивает, соглашаясь, хотя внутри что-то сжимается от неточности собственных слов — она произносит «деревня» и «гордый бедняк», а в голове звучит совсем другое, то, что он на самом деле сказал, спокойно, без нажима, будто советуя, с какой стороны обойти лужу на асфальте. Поищи жерт-

ву среди своих. У тебя и так достаточно компании для таких развлечений.

Она делает глоток кофе, слишком горячий, обжигающий нёбо, и использует это как повод ненадолго отвести взгляд в сторону — на окно, за которым серое небо над Проспектом Вернадского висит плоско, без просвета, как крышка над кастрюлей. Фраза про жертву среди своих не выходит из головы, прокручивается заново, и каждый раз звучит точнее, чем в первый. Он не оправдывался, не защищался — он будто со стороны посмотрел на всю эту сцену, на Вику с Ромой, на саму Катю с её заготовленной улыбкой, и равнодушно вынес вердикт, как врач, которому не интересен пациент, но интересен диагноз.

Самое неприятное не в том, что он отказал. Отказы случались и раньше, редко, но случались, и каждый раз это было делом техники — поднажать чуть иначе, зайти с другой стороны, и рано или поздно получалось. Неприятно то, что он, кажется, увидел саму механику, всю эту игру насквозь, с первого взгляда, будто читал инструкцию, написанную специально для него.

— Да забей, Кать, — Рома делает движение рукой, словно отмахивается от мухи. — Он того не стоит. Серьёзно, кому вообще нужен этот стипендиат с окраины. Пусть сидит в своём Бутово, нам-то что.

— Точно, — поддакивает Света, хотя до этого молчала всю сцену и, кажется, вообще не очень понимает, о чём

именно речь — просто поддерживает общее настроение, как делает всегда.

Вика пожимает плечами, уже теряя интерес — новая тема занимает её больше, что-то про вечеринку у Милы в субботу, кто придёт, кто не придёт, стоит ли вообще ехать, если там будет эта компания с эконоффака. Разговор естественно утекает в сторону, как вода находит щель и уходит туда, где меньше сопротивления.

Катя слушает вполуха, кивает в нужных местах, но внутри неё что-то упрямо не желает отпускать историю. Она смотрит на свой стаканчик кофе, на тонкую полоску пены по краю, и вдруг ловит себя на мысли, что не хочет, чтобы всё закончилось вот так — пожатием плечами, фразой «забей», переходом к разговору о чьей-то вечеринке. Будто если оставить это как есть, тот холодок в груди, появившийся в аудитории, так и останется там навсегда, непрошенным гостем, с которым не знаешь, что делать.

— Нет, — произносит она вдруг, и голос звучит твёрже, чем она рассчитывала, обрывая разговор про Милу на полуслове. Вика умолкает, удивлённо глядя на неё. Рома тоже оборачивается.

— Что — нет? — переспрашивает Вика.

— Я не собираюсь это так оставлять, — Катя ставит стаканчик на стол чуть резче, чем нужно, слышит глухой стук пластика о пластик. Она сама не до конца понимает, откуда взялось это решение — оно не выросло из расчёта, не вы-

строилось логической цепочкой, как обычно у неё бывает, когда она решает кого-то проучить. Оно просто есть, вспыхнувшее целиком, минуя стадию обдумывания, рождённое чем-то более простым и более стыдным — тем, что её, впервые за долгое время, поставили на место, и поставили легко, без усилий, будто она вообще не стоила того, чтобы напрягаться.

— Ого, — Рома приподнимает брови, в голосе проскальзывает нотка интереса — он любит, когда дело становится личным, тогда оно перестаёт быть скучным. — То есть всё-таки будем трогать?

— Я сама решу, что с ним делать, — Катя смотрит мимо них, в сторону окна, туда, где за стеклом виден кусочек серого неба и верхушка дерева у главного входа. — Но без меня — никто. Ни ты, — она коротко смотрит на Рому, — ни ты, — переводит взгляд на Вику. — Это моё.

В её голосе звучит что-то, чего сама она не планировала туда вкладывать, — не азарт охотника, предвкушающего забаву, а нечто более узкое и острое, похожее на уязвлённое самолюбие человека, которому указали на дверь в его собственном доме. Вика переглядывается со Светой, пожимает плечами — ладно, мол, как скажешь, — и разговор снова утекает куда-то в сторону субботней вечеринки, а Катя остаётся сидеть с ощущением, что только что пообещала себе что-то, смысл чего ещё не до конца понятен даже ей самой.

* * *

Двор МГИМО к шести вечера пустеет — остаются только те, кто паркуется у главного входа из принципа, а не по необходимости. Фонари ещё не включили, и серое небо над проспектом Вернадского так и не определилось за весь день, собирается оно светлеть или темнеть, просто виснет над крышами плотной ватой. Катя стоит у своей Audi, ключи уже в руке, и ловит Рому с Викой жестом — не окликом, просто движением подбородка, которое в её компании давно заменяет любые слова.

Они подходят. Вика на ходу застёгивает пуговицу на пальто, Рома чуть отстаёт, как всегда, будто ему важно не показаться слишком заинтересованным.

— Короче, — говорит Катя, и голос у неё ровный, без той трещины, что проскальзывала в кафе полчаса назад, — я решила. С Хоторовым.

— Я же говорила, — Вика расцветает, будто ей лично пообещали подарок. — Что будем делать?

— Я устрою ему такую репутацию, — Катя смотрит не на них, а куда-то в сторону арки, где уже темнеет, — что он сам захочет перевестись обратно в свой захолустный вуз. Пусть подумает, что сделал неправильный выбор.

Она произносит это спокойно, почти буднично, как будто речь о пересдаче или о замене преподавателя, и ей нравится, как звучат собственные слова — весомо, окончательно, без права на возражение. На секунду внутри что-то отзывается тёплым удовлетворением, похожим на то чувство, когда

правильно рассчитала курс валюты в задаче по финансам и получила точное число.

— О, это вообще легко, — Вика уже достаёт телефон, будто план можно запустить прямо здесь, на парковке. — Я завтра же кину пару штук в общий чат потока, что-нибудь про стипендию, про общагу — у нас же там половина с экономфака сидит, разлетится за час. Можно ещё...

— Нет.

Слово выходит резче, чем Катя рассчитывала, и Вика замолкает на полуслове, телефон так и остаётся у неё в руке, экраном вверх, подсвечивая снизу недоумённое лицо.

— Что нет?

— Никто его не трогает без меня, — Катя переводит взгляд с Вики на Рому и обратно, медленно, будто ставит печать на каждом. — Ни слухов, ни подколок, ни единого слова в чате. Это моё дело.

Рома приподнимает плечо — не спорит, но и не скрывает, что находит это странным.

— Да какая разница, кто начнёт, — говорит он лениво. — Цель-то одна.

— Разница есть, — отрезает Катя. — Я сказала — моё. Я решу, как и когда. Если узнаю, что кто-то вякнул раньше времени, — она не договаривает, просто смотрит, и этого хватает. Рома с Викой слишком давно в её орбите, чтобы не понимать значения этой паузы лучше любых слов.

— Ладно, ладно, — Вика убирает телефон, поднимает ру-

ки в шутовском жесте капитуляции, хотя в глазах у неё мелькает что-то похожее на обиду — будто у неё отняли игрушку, которую уже мысленно распаковала. — Твоя добыча, твои правила.

Слово «добыча» царапает что-то внутри, но Катя не позволяет себе остановиться на этом дольше секунды. Она коротко кивает, будто подводит итог совещания, и идёт к машине, слыша за спиной, как Рома что-то бурчит Вике — не разобрать, что именно, да и не нужно, это уже не её разговор.

Садясь за руль, она ловит себя на том, что не может сформулировать, зачем ей вообще понадобилось это «моё». Логичнее было бы отдать дело на откуп Вике — та справится не хуже, с её способностью разносить слух по потоку за один перерыв между парами, и Катя могла бы остаться в стороне, чистой, как обычно, наблюдающей сверху. Но мысль о том, что кто-то другой первым подойдёт к Алексею, первым заговорит с ним, первым увидит, как меняется или не меняется его лицо, вызывает что-то похожее на ревность, только Катя не разрешает себе называть это так даже про себя. Она убеждает себя, что дело в контроле: это она начала, значит, ей и заканчивать, она не из тех, кто передаёт недоделанную работу подчинённым. Но где-то под этим объяснением, глубже, чем она готова копать, лежит другое — упрямое желание понять, откуда в нём это спокойствие, та ровная, ничем непоколебимая уверенность, с которой он сказал ей поискать жертву среди своих. Она не хочет унижить его — хочет разо-

брать это спокойствие на части, посмотреть, из чего оно сделано, и уже потом, может быть, решить, что с ним делать.

Двигатель заводится мягко, приборная панель вспыхивает синим. Катя смотрит в зеркало заднего вида — Вика с Ромой уже идут к его машине, что-то обсуждая, явно не про Алексея, слишком быстро переключились, им это неинтересно всерьёз, для них это просто способ убить скучный семестр. А ей — нет. Она не признаётся себе, чем именно это отличается, но знает, что отличается.

Двор пустеет окончательно, только одинокий первокурсник торопится к метро, прижимая к груди папку с конспектами. Катя смотрит на опустевшую площадку перед главным входом, на тёмные окна аудиторий, где несколько часов назад Алексей сказал ей то, что не имел права говорить, — и фраза про жертву среди своих снова всплывает в голове, слово за словом, будто кто-то проговаривает её специально, чтобы она не забыла.

Она включает передачу и выезжает со двора, так и не решив для себя, что злит её сильнее — то, что он отказал ей, или то, что отказ прозвучал так, будто он уже давно знал о ней всё, чего сама она себе не говорила.

Глава 2.

В холле между вторым и третьим этажом зимний свет лежит на полу широкими бледными плитами, и в этих плитах видно всё: разводы от чьих-то подошв, песок, которым посыпали крыльцо, мелкие катышки с чужих шарфов. Катя сидит на подлокотнике кожаного дивана, потому что на сам диван уже легла Светина сумка, а просить Свету подвинуться значит признать, что тебе важно, где сидеть. Телефон греет ладонь. Лента идёт вверх под большим пальцем ровно, как лента в аэропорту: чей-то Бали, чья-то новая сумка Dior, свадьба студентки с третьего курса, восемнадцать сторис подряд с одного и того же ужина в «Сахалине». Она не задерживается ни на одной. Она даже не особенно смотрит.

Кофе из автомата стынет в картонном стакане у её бедра, на крышке проступило бурое пятно. Запах у этого кофе такой, каким пахнет сам автомат: горелым сахаром и тёплой пылью.

— Ну и? — говорит Рома.

Он стоит напротив, расставив ноги, руки в карманах пуховика, и загораживает ей половину окна. У него привычка загораживать. В школе такие мальчишки вставали в дверях, и все обходили.

— Что «ну и»? — Катя не поднимает глаз.

— Ты вчера сказала, что от него места мокрого не оста-

нется. При всех сказала. А сегодня «не трогайте». — Он покачивается с пятки на носок. — Я просто уточняю, какая версия рабочая.

Вика фыркает в свой капучино, Света смотрит в пол. Катя дочитывает до конца чью-то подпись про «энергию нового года» и только потом гасит экран. Тишина получается ровно той длины, какая нужна: достаточной, чтобы Рома понял, что его торопливость заметили.

— Рабочая та, которую я скажу, — произносит она. — Ты, кажется, решил, что я тебе кнопку нажала и теперь можно бежать.

— Да я без претензий.

— Вот и хорошо.

Она смахивает с колена невидимую крошку. Под рёбрами держится ровное, холодное раздражение, и оно удобное, в нём легко думать. Вчерашнее она прокрутила ночью раз двадцать, разбирая по кадрам, как разбирают запись переговоров: где он поставил паузу, где не вздрогнул, где посмотрел не туда, куда смотрят все. В сухом остатке у неё нет ничего, кроме факта, что человек, разговаривал с ней как с ровней. Факт неудобный, и значит, его нужно уточнить.

— Крестовский, — говорит она.

Вика поднимает брови.

— Который?

— Данила. Второй курс, международное право. Высокий, вечно в этой своей куртке горчиной. На дне рождения у По-

лины был, ты с ним полтора часа разговаривала про Куршевель.

— Я с ним разговаривала? — Вика вспоминает добросовестно, морща лоб, и Катя в который раз отмечает, что Вика ничего не запоминает про людей, если у них нет машины. — А, ну да. Он ещё в школе учился где-то в Отрадном, что ли.

— В Медведкове. И не в школе, а в секции. — Катя наконец смотрит на неё прямо. — Он с Хоторовым пересекался до универа. Мне нужно знать где и что это было.

— Откуда ты...

— Слышала.

Она действительно слышала, вполуха, в коридоре, и тогда это была совершенно бесполезная информация, пустой шум, и она всё равно её сохранила. Привычка отца: всё складывать. Папа говорит, что люди делятся на тех, кто выбрасывает чеки, и тех, кто их подшивает.

— Подойди к нему сама, — продолжает Катя. — Не в лоб. Не надо никаких «а ты знаешь такого». Спроси, где он держит форму зимой, скажи, что ищешь зал, что тебе надоел твой на Пресне. Он сам начнёт перечислять. Люди обожают рассказывать, где они тренируются.

— А если не начнёт?

— Тогда ты плохо спросила.

Света тихо хихикает и тут же делает вид, что это был кашель. Рома доволен: у него снова есть направление, и он уже прикидывает что-то своё, по лицу видно, как у него внутри

двигаются тяжёлые детали.

Вика ставит стакан на подоконник и поворачивает его ручкой к себе, словно это имеет значение.

— Кать. Можно я скажу?

— Ты уже начала.

— Он никто. — Вика произносит это осторожно, как трогают лёд носком сапога. — Правда. Ни денег, ни фамилии, ездит на автобусе, живёт где-то у МКАДа. Он даже обидеться толком не сможет так, чтобы это кого-то интересовало. Мы с ним возимся третий день, а он, по-моему, даже не заметил, что с ним что-то происходит. Может, ну его? Зачем тратить на него тебя?

Фраза составлена грамотно. Вика вообще умнее, чем выглядит, и это её единственная настоящая валюта.

— Затем, — отвечает Катя, и голос выходит такой, какой бывает у отца по телефону в девять вечера, когда он уходит с ужина в кабинет, — что я не спрашивала, что тебе кажется разумным. Ты не комитет. Ты человек, который подойдёт к Крестовскому и задаст два вопроса.

Вика моргает. Света смотрит в свой телефон слишком пристально для того, чтобы там действительно что-то было. Рома присвистывает одними губами, беззвучно.

Что-то едва слышно сдвигается, как сдвигается картина на стене, когда рядом хлопнули дверь: на полсантиметра, и никто не заметит, кроме хозяйки. Катя слышит собственный голос со стороны, и ей не нравится громкость. Она никогда

не повышает тон. Повышать тон — это как бежать за уходящим лифтом: все видят, что тебе нужно. Резкость стоит дорого и тратится в исключительных случаях, а не на Вику, которая просто сказала правду вслух.

Она берёт стакан, делает глоток холодного сладковатого кофе и фиксирует эту мысль как лишнюю. Не нравится, когда под руку. Просто устала. Вчера легла в три.

— Ладно, — говорит Вика совсем другим тоном. — Горчицная куртка. Поняла.

— Не сегодня. Завтра, после второй пары, он курит у третьего выхода.

— Ты и это знаешь?

— Я много чего знаю.

Звенит звонок, глухой, где-то в конце коридора, и холл приходит в движение: скрип курток, хлопанье сумок, чей-то смех от гардероба. Света подхватывает свою сумку с дивана, Рома уже идёт к лестнице, не оборачиваясь, уверенный, что все пойдут за ним. Все и идут.

Катя встаёт последней. Выбрасывает стакан в урну, и крышка стучает о металл неприятно звонко.

Вика хорошая, но Вика перескажет ей то, что ей самой покажется интересным, а интересным ей покажется не то. И вообще, когда речь идёт о проверке, проверять нужно самой. Катя открывает заметки и пишет одной строкой: «Крестовский, третий выход, 16:40». Потом смотрит в окно, за которым по Вернадского ползёт серая каша из машин, и дума-

ет, что вечером у неё всё равно ничего не назначено, кроме ужина, на котором мать будет спрашивать, как учёба.

Из принципа, говорит она себе. Исключительно из принципа.

* * *

В кафе на первом этаже пахнет куриным бульоном и мокрой шерстью. С улицы натаскали снега, он тает полосами у входа, и кто-то уже проехался подошвой, оставив на плитке длинный серый мазок. Катя садится так, чтобы видеть весь зал: спиной к колонне, лицом к раздаче. Это не расчёт, это привычка, как держать спину прямо.

Перед ней салат, который она не собирается есть, и американо в бумажном стакане, который успел остыть ещё по дороге от стойки. Рома уже уничтожил свою порцию пасты и теперь крутит в руках ключи, как человек, которому надо чем-то занять руки, чтобы не казаться глупым. Света разворачивает салфетку и складывает её обратно.

Алексей сидит через два стола у окна. Один. Перед ним тарелка с гречкой и котлетой, компот в гранёном стакане, и он ест так же, как делает всё остальное: без спешки, не оглядываясь, будто у него в этом зале есть какое-то законное дело, которым он и занят.

Куртка висит на спинке стула. Тёмно-синяя, не из тех, что покупают, а из тех, что носят.

За соседним с ним столом второкурсник выкладывает на поднос телефон. Корпус с трещиной через весь экран, мо-

дель лет пяти, не меньше.

— Господи, — говорит Катя, и голос у неё спокойный, негромкий, но в кафе он почему-то слышен до раздачи. — Я думала, такие уже только в музее связи. Там ещё змейка должна быть.

Света поворачивает голову. Рома поднимает брови, как человек, получивший сигнал.

— Это не телефон, это семейная реликвия, — подхватывает он. — Передаётся по наследству вместе с курткой.

Света смеётся. На полсекунды позже, чем надо бы, и сначала смотрит на Катю, а уже потом на Рому. Катя это фиксирует, как фиксируют опечатку в чужом документе: вслух не скажешь, но прочитано.

Второкурсник с телефоном краснеет и убирает его в карман. Он здесь ни при чём, он просто оказался на нужном расстоянии. Катя даже не смотрит в его сторону, она смотрит в сторону окна, и смотрит достаточно долго, чтобы любому в этом зале стало понятно, кому адресован текст.

Алексей ест гречку.

Он не поднимает голову, не замирает с вилкой, не делает той короткой паузы, по которой всегда видно, что человек услышал и решает, обижаться ему или сделать вид. Ничего. Отрезает кусок котлеты, кладёт в рот, жуёт. Берёт компот. За окном по Вернадского ползёт троллейбус, и Алексей смотрит туда, в окно, как смотрят на погоду.

Тишина за Катиним столом становится вязкой. Рома ещё

держит на лице остатки ухмылки, но она уже нигде не держится. Света разворачивает салфетку в третий раз. Вот что обидно: неловко не ему. Неловко им, и это продолжается четыре секунды, и каждая из них длиннее предыдущей.

Катя встаёт.

Она проходит эти два стола медленно, потому что медленно всегда выглядит лучше, и останавливается напротив него, положив кончики пальцев на край столешницы. Пластик липкий. Кто-то пролил компот и вытер рукавом.

— Знаешь, что меня в тебе умиляет, — говорит она. — Не бедность. Бедность бывает временная, это даже бывает романтично. Умиляет сочетание. Носить куртку с подшитой подкладкой и при этом сидеть с таким лицом, будто ты тут всем делаешь одолжение. Гордость, Хоторов, это довольно дорогой аксессуар. Её обычно покупают после всего остального.

Говорит она негромко. Громко говорят те, кому нужны свидетели, а ей свидетели не нужны, они уже есть.

Алексей кладёт вилку. Выравнивает её параллельно краю тарелки, спокойно, без демонстрации, и только после этого поднимает глаза.

Карие, светлее, чем у неё. И в них нет того, что она привыкла там находить: ни злости, ни заискивания, ни мужского интереса, который можно потом использовать. Он смотрит на неё так, как смотрят на человека, которого жалко, и при этом никакой жалости в лице нет. Хуже всего именно это.

Он чуть отодвигает тарелку.

— Ты уже третий день что-то про меня узнаёшь, Катя. Через Вику, через Крестовского, через кого-то ещё. И сейчас ты подошла, хотя могла сидеть там и смеяться дальше, и это было бы для тебя удобнее. — Он говорит без нажима, так, будто объясняет дорогу. — Я не думаю, что тебе интересна моя куртка. Я думаю, под всей этой бронёй стоит одинокая девушка, которой не с кем поговорить. По-настоящему, без счёта: кто кому чего должен. Ты хочешь, чтобы в тебе увидели не дочь Морозова. А сама первая всем про неё напоминаешь, потому что иначе страшно.

В зале шумно: лязгает поднос, у раздачи спорят про сдачу, кто-то хохочет у автомата с кофе. Этот шум идёт мимо, как вода мимо опоры моста.

У Кати есть ответ на любую фразу. Это не талант, это навык, наработанный лет с четырнадцати, как у теннисистки правая рука: мяч летит, рука уже там. Про жалость к себе. Про психологов, которые берут три тысячи за час и формулируют лучше. Про то, что мальчикам из Медведкова всегда кажется, будто они видят людей насквозь, потому что больше им смотреть не на что.

Всё это есть. И всё это не поднимается, будто кто-то вынул из неё провод.

Она стоит и чувствует, как горячеет кожа под воротником водолазки, и это самое унижительное, потому что такое не контролируется. Пальцы всё ещё на липком пластике. Она

их убирает.

— Ты псих, — говорит Катя.

Коротко. Плоско. Таким ответом в её кругу не отвечают, таким отвечают в школьном коридоре, когда больше нечем.

Она разворачивается и идёт к выходу, и спина у неё ровная, и шаг обычный, и никто, кроме неё самой, не знает, что она ушла первой. Рома вскакивает со своим подносом, Света что-то говорит ему вслед. Катя не оборачивается.

У дверей она понимает, что оставила на столе сумку, и возвращаться нельзя ни при каких обстоятельствах.

* * *

Во дворе минус семь и то особое февральское освещение, когда небо уже не белое, но ещё не синее, а цвета старой простыни. Катя стоит у ограды, там, где вытоптана тропинка к урне, набитой окурками так плотно, что они торчат вверх, как мелкий бурьян. Пальто она взяла в гардеробе сама, протянув номерок молча, и женщина за стойкой почему-то посмотрела на неё дольше обычного.

В правом кармане лежит пачка, початая ещё в новогодние, на Пресне, у Полины, когда все вышли на балкон и было смешно. Шесть сигарет и чья-то зажигалка с отломанным колёсиком-предохранителем. Катя не курит. Точнее, она не курит при них, потому что курящая девушка — это девушка, которой нервно, а нервно бывает тем, у кого нет позиции. Сейчас позиции тоже нет, но нет и свидетелей.

Первая затяжка отдаёт в горле чем-то сухим и жжёным, и

она кашляет, коротко, в кулак, злясь на собственное горло.

Фраза стоит в голове целиком, как отпечатанная. Он сказал не «ты одинокая». Он сказал: под всей этой бронёй стоит одинокая девушка, которой не с кем поговорить. По-настоящему, без счёта: кто кому чего должен. Катя разбирает её на части, как таможенную декларацию, ищет, где подложено. Лесть? Нет, лестью не называют одинокой. Попытка подката через жалость, приём из дешёвых пабликов про психологию отношений? Тогда он бы задержал взгляд, тогда бы он потом посмотрел ей вслед, а он пододвинул тарелку и, кажется, спокойно доел. Манипуляция требует, чтобы манипулятор чего-то хотел. Он ничего не хотел. В этом вся мерзость.

Она выдыхает в сторону, и дым идёт низко, не поднимаясь, прижатый холодом к земле.

Мимо, по расчищенной дорожке, идут трое с первого курса, видят её и сбавляют шаг. Один открывает рот, явно собираясь поздороваться с тем выражением лица, которое она знает наизусть: смесь готовности услужить и страха быть замеченным неправильно. Катя смотрит сквозь него, и парень передумывает. Обычно это приятно. Сейчас никак, как будто нажала кнопку в лифте и лифт не поехал.

На парковке за оградой греется чёрный «Гелендваген» Ромы, выхлоп белым столбом, двигатель работает вхолостую уже час, потому что Роме так удобнее. Раньше ей в голову не приходило считать это глупым.

— Ладно, — говорит она вслух, негромко, и сама себе ка-

жется смешной.

Сумка осталась там, на столе, рядом с его подносом. Чёрная, с ремешком, в ней ключи, помада, пропуск, который она никогда не использует, и ничего такого, без чего нельзя прожить сорок минут. Возвращаться нельзя. Это азбука: тот, кто возвращается, признаёт, что уходил неправильно.

Пепел срывается и падает ей на рукав, серой лепёшкой, и Катя смахивает его перчаткой, и на кашемире остаётся серая полоса.

Отец говорил такое про мать. Не ей, не в разговоре, а в телефон, в прихожей, застёгивая пальто, и Кате было лет четырнадцать, и она стояла на лестнице выше, где её не видно. Голос у него был ровный, рабочий, тот же, каким он обсуждает активы: Лена у меня одна даже в переполненной комнате, с этим ничего не сделаешь. Он сказал это не зло, а как про дефект поставки.

Катя затягивается ещё раз, слишком глубоко, и в глазах становится мутно, и она решает, что мутно от никотина.

Она не помнит, что он говорил дальше. Она помнит ковёр на лестнице и то, что мать в это время была в гостиной, в десяти шагах, и слышать не могла. Всё. Больше в этом воспоминании ничего нет, и доставать его не нужно, потому что оно ни к чему не ведёт и ничего не объясняет, а всего лишь всплывает иногда, как чек из старой куртки.

Она тушит сигарету о край урны, тщательно, дольше, чем нужно.

Телефон в левом кармане. Экран сразу облепляет холодом пальцы. Семнадцать сообщений в беседе, из них четырнадцать за последние двадцать минут, и она не читает ни одного. Открывает Вику отдельно.

«Забудьте про Крестовского. Не стоит он внимания».

Отправляет. Смотрит на серую галочку, потом на синюю, потом на «печатает...», которое идёт долго, стирается, начинается снова. Вика сейчас подбирает интонацию, в которой можно переспросить, не получив по лицу.

Правильный ход был другой, и Катя его знает: выжать Крестовского досуха, узнать, где Алексей работает, на что живёт, с кем жил, что было в прошлом вузе, и класть это на стол по кусочку, пока у человека не перестанет получаться сидеть ровно. Это несложно. Это даже не требует усилий, это требует двух звонков.

Вместо этого она добавляет:

«И сумку мою заberi, я в кафе оставила».

«хорошо», приходит через секунду. И следом: «Кать всё норм?»

Катя блокирует экран, не отвечая.

Норм — это слово из того языка, где всё решается голосованием семи человек в беседе. У неё всё норм, у неё всегда всё норм, у неё даже сейчас, с испорченным рукавом, с горечью во рту и с чужой фразой, которую не получается ни опровергнуть, ни выкинуть, всё абсолютно норм.

Нужен вечер. Нормальный, громкий, с бронью на полови-

ну девятого, с теми, кто пьёт шампанское не по поводу, а потому что оно есть в карте. Музыка, в которой не слышно собственных мыслей, свет, в котором все красивые, разговор, в котором ей не придётся ничего доказывать, потому что там она — Морозова, и это не обсуждается. Три часа такого, и формулировка выветрится сама, как выветриваются дурацкие песни.

Она идёт к корпусу, и снег под ботинками скрипит честно, по-зимнему, и до третьей пары остаётся двенадцать минут.

* * *

Купол над ними стеклянный, и в нём отражается зал, так что город снаружи приходится высматривать между собственными отражениями: кусок Смоленской высотки с подсвеченным шпилем, красные ленты фар по Садовому, дальше чернота с рассыпанными окнами, в которой Москва выглядит ровно, как выглядит на любой открытке. Шестнадцатый этаж. Отсюда город — это схема, а не место, где кто-то ходит пешком по снегу.

Катя держит бокал за ножку и не пьёт. Ruinart в ведёрке потеет, официант подливает раньше, чем успеваешь опустить наполовину, и это та услужливость, которую она обычно не замечает вовсе, как не замечают температуру воздуха, когда она правильная. Сегодня замечает. Горлышко бутылки касается края бокала с тихим стуком, и Катя почему-то считает, который это раз.

Сумка стоит у ноги, Вика принесла её ещё в корпусе, мол-

ча, без вопросов, и это была хорошая работа, за такое не благодарят.

— Он взял чёрный, — говорит Света, листая что-то в телефоне и держа экран так, чтобы видели все. — Не матовый. Матовый он не хотел, потому что мыть.

— Он его мыть собирается? — Рома откидывается на спинку, рубашка на плечах натягивается, он это знает. — Он его в сервис загонит и будет страдать, что без машины три дня.

— Отец ему ещё квартиру взял. В Дубае, в Марине.

— В Марине сейчас все.

— Ну значит и он там.

Разговор идёт сам, как эскалатор. От машины к квартире, от квартиры к тому, кто с кем улетает в феврале, от февраля обратно к машине, потому что машину ещё не обсудили до конца, у неё есть салон, и про салон тоже есть что сказать. Катя слушает и ловит себя на странном: она не может вспомнить фразу, которую Света произнесла минуту назад. Не смысл, смысл примерно известен заранее. Именно фразу, слова в порядке. Их нет. Они растворяются сразу, как растворяется шипение в бокале, и даже следа не оставляют на стенках.

Она проверяет себя ещё раз, нарочно: повторяет про себя последнее, что сказал Рома, и уже через полминуты не уверена, было ли там про сервис или про страховку.

Утиная грудка с облепихой остывает. Она её даже не тро-

гала.

— Нет, слушайте, — Рома подаётся вперёд, и все разворачиваются к нему, потому что он сейчас будет рассказывать, и это понятно по тому, как он кладёт локти. — Макроэкономика. Входит, ставит портфель, говорит: коллеги, сегодня у нас инфляция. И смотрит на Соколову. Прямо вот так смотрит. А Соколова ему: Игорь Витальевич, у нас у всех инфляция.

Пауза, и смех.

Смеются все одновременно, в одну восьмую, как хорошо сыгранный состав. Вика откидывает голову, блондинистая прядь падает назад, Света прикладывает пальцы ко рту, кто-то хлопает ладонью по столу. И Катя смеётся тоже, честно, потому что действительно смешно, но смеётся на долю секунды позже остальных, и эта доля секунды оказывается слышной. Не им. Ей.

Раньше она входила в этот смех первой. Раньше смеялись после неё, подстраиваясь, и она никогда об этом не думала, потому что об этом не думают, как не думают о том, в какой последовательности переставлять ноги на лестнице.

— Кать. — Вика наклоняется ближе, запах её духов тяжёлый, сладкий, что-то цветочное с ванилью, в котором тонет облепиха на тарелке. — Ты весь вечер какая-то. Что?

— Сессия.

— Сессия через три недели.

— Вот именно, — Катя наконец делает глоток, и пузырьки

колются о нёбо. — Я заранее устаю. Экономия ресурсов.

Вика смотрит ещё секунду, решает не раскапывать и улыбается с облегчением человека, которому разрешили не разбираться. Этому её не учили, это у неё врождённое: понимать, где край, и не переступать. Полезное свойство. Катя сама его в ней когда-то поощряла.

Она отворачивается к стеклу. В отражении видно их стол целиком, и со стороны это красивая картинка: четверо молодых людей под куполом, свет тёплый, бутылка в ведре, город внизу. Фотография для чьей-то ленты. У всех правильные зубы.

И вот тут она делает то, чего делать не собиралась.

Она сравнивает.

Днём, в кафе, с пластиковым подносом и запахом столового бульона, был обмен репликами длиной, может, в сорок секунд. Четыре фразы, из которых две её. И эти сорок секунд она помнит целиком, вплоть до того, что у него было на тарелке и как он положил вилку, прежде чем поднять на неё глаза. А здесь два с половиной часа, шампанское по двадцать с чем-то за бутылку, вид на полгорода, и в памяти не задержалось ни единого предложения.

Это нечестное сравнение, и она это знает. Сравнить надо сопоставимое. Разговор, в котором тебя ударили, всегда будет помниться лучше разговора, в котором тебя развлекали. Любой удар запоминается, это физиология, это вообще не про людей.

Но злость приходит не на него, а на себя, и приходит резко, горячей волной под рёбра. Потому что она сидит в White Rabbit, в своей компании, за своим столом, и мысленно выставляет этому столу оценку относительно парня в старой куртке, который не помнит её фамилии или делает вид, что не помнит. Это и есть проигрыш. Не слова, которые он сказал. А то, что она тратит на них вечер, который должен был их стереть.

— Кать, в четверг на Патриках, там открытие, — говорит Света. — Нас туда зовут.

— Нас всюду зовут.

— Ну а ты как?

— Посмотрим.

Музыка меняется, становится на полтона громче, под куполом начинает пульсировать розовым. Рома подзывает официанта движением двух пальцев, и в этом жесте всё, чему их учили дома, не говоря вслух: люди с подносами появляются по щелчку, их не зовут по имени, им не говорят спасибо дважды.

Катя смотрит на вторую бутылку, которую сейчас принесут, и понимает, что не досидит до её конца.

— Я поеду.

Три лица поворачиваются к ней одновременно, и на всех трёх одно и то же недоумение, вежливо разбавленное у Вики и совсем не разбавленное у Ромы.

— Ты чего? Десять только.

— Голова.

— Таблетку дать? — Света уже тянется к сумочке, у неё там аптека на все случаи.

— Пройдёт.

Голова у неё абсолютно ясная. Такой ясной она не была, кажется, с осени: ни тяжести в висках, ни шума, ни того вязкого гула, который обычно висит после второго бокала. Всё видно, всё слышно, всё понятно до последней детали, включая то, что Рома уже сейчас достаёт телефон, чтобы написать кому-то, кто освободился.

Она встаёт, берёт пальто у гардеробщицы, оставляет ей тысячу и выходит в лифт одна. В зеркале лифта её лицо выглядит ровно так, как должно: Морозова, которой нездоровится. Всё в порядке. Ничего не произошло.

Двери закрываются, и шестнадцать этажей идут вниз быстро, с лёгким давлением в ушах.

* * *

Дом в это время суток издаёт собственные звуки, которых днём не слышно: где-то в стене щёлкает реле тёплого пола, внизу, в кухне, раз в минуту вздрагивает холодильник, и за окном, во дворе, ровно гудит трансформаторная будка, которую отец два года собирается перенести за гараж и никак не перенесёт. Катя лежит поверх одеяла в футболке, с мокрыми после душа волосами, и смотрит в потолок. Шторы в её комнате тяжёлые, плотные, их выбирала не она, а женщина по имени Жанна, которую мать называет декоратором, и

они почти не пропускают свет. Почти. Между полотнищами остаётся щель в палец шириной, и через неё фонарь с подъездной дороги кладёт на потолок длинную белёсую полосу, слегка размытую по краям. Полоса лежит там каждую ночь. Обычно Катя её не замечает.

Сейчас замечает. И по её положению, по тому, насколько она сместилась к карнизу, понимает, что лежит так уже долго.

Телефон на тумбочке показывает час двадцать. Она берёт его, не потому что ей что-то нужно, а потому что рука сама тянется, и начинает листать вниз: чей-то отпуск, чья-то собака в свитере, Светина история из White Rabbit, снятая уже после её ухода, с бутылкой в кадре и двумя чужими лицами. Пальцы двигаются, экран светит в лицо голубым, и всё это похоже на то, как промывают рану: больно не становится, но и чище тоже.

Палец замирает сам, без команды, на старой фотографии в галерее. Декабрь позапрошлого года, приём в Барвихе, снимал наёмный фотограф, потом прислал пятьсот кадров, из которых отец отобрал три. Они стоят у колонны: отец в центре, мать справа, Катя слева. Все трое улыбаются, и улыбки у всех разные, что видно только если разглядывать долго, а разглядывать долго никому обычно не приходит в голову. У отца улыбка короткая, как подпись на документе: сделано, принято, следующий. У матери уголки губ подняты ровно настолько, насколько требуется, и ни на миллиметр выше, а

глаза при этом смотрят чуть мимо объектива, в сторону, где, вероятно, стояла чья-то жена, с которой она не хотела разговаривать. У самой Кати улыбка идеальная. Отрепетированная перед зеркалом в четырнадцать лет, доведённая до автоматизма к шестнадцати, рабочая.

Она увеличивает снимок двумя пальцами, пока лицо не расплывается в пиксели.

В тот вечер отец водил её по залу. Не держал за руку, конечно, просто шёл так, что она оказывалась на полшага позади и справа, и у каждой группы останавливался. «Александр Витальевич, а это у вас кто?» И отец отвечал, не поворачивая к ней головы: моя дочь, МЭО, второй курс, школу закончила с отличием, английский, французский, испанский догоняет. Три фразы. Он произносил их, как произносят характеристики актива: год выпуска, пробег, комплектация. Ни разу за весь вечер он не сказал просто «Катя». Имя в этом перечне было бы избыточной информацией, оно ничего не прибавляло к стоимости.

И самое отвратительное, думает она, глядя, как полоса на потолке чуть дрожит, когда внизу по дороге проезжает машина, самое отвратительное, что ей тогда было приятно. Ей нравилось, как люди поворачивались. Нравилось, что список длинный и каждый пункт в нём настоящий, не выдуманный, заработанный её собственным сидением над учебниками, её бессонными ночами перед экзаменами. Она тогда ещё думала, что список и есть она.

Телефон гаснет. Катя кладёт его экраном вниз и накрывает подушкой, чтобы не светил, и в темноте, которая сразу становится гуще, к ней возвращается то, от чего она весь вечер ездила по Москве и пила шампанское по двадцать с чем-то за бутылку.

Что под бронёй просто одинокая девушка, с которой никто по-настоящему не разговаривает.

Она пробует разозлиться. Разворачивает злость на встречу, как разворачивают зонт против ветра: да кто он такой, второкурсник, который моет полы неизвестно где, чтобы платить за что-то неизвестно какое, и который с высоты своего величия выдаёт диагнозы людям, с которыми провёл в одном помещении в общей сложности час. Психолог нашёлся. Начитался чего-то и повторяет.

Злость идёт вперёд и соскальзывает. Не цепляется, как не цепляется колесо на льду: обороты есть, движения нет. Потому что внутри неё, в той части, куда она обычно не заглядывает без крайней необходимости, сидит простое и неудобное знание, что он сказал это не как оскорбление. Он не повышал голос, не искал зрителей, не ждал, пока Рома услышит. Он положил вилку, посмотрел на неё и сказал, как говорят про погоду за окном: вот так есть. Оскорбление можно вернуть. На констатацию возвращать нечего.

И остаётся тишина. Очень честная, неприятная тишина, в которой слышно трансформатор во дворе.

Катя поворачивается на бок, подтягивает колени, как де-

лала лет в восемь, когда ей снились собаки. Под рёбрами стоит что-то тёплое и тугое, и она называет это словом раньше, чем успевает себя остановить.

Устала.

Не от сессии, которая ещё даже не началась. Не от Вики, не от ресторанов, не от Москвы. От того, что она — проект. От того, что её семнадцать лет собирали по чертежу: репети-торы, осанка, три языка, правильный вуз, правильный круг, правильное будущее, в котором её выдадут за кого-нибудь из соседнего по алфавиту списка, и список этот отец уже, вероятно, держит в голове. От того, что всё, что она умеет делать хорошо, она умеет делать для чужих глаз. От того, что если убрать фамилию, останется очень красивая, очень усталая двадцатилетняя девушка, которая не помнит, когда в последний раз говорила вслух то, что думает, не просчитывая, как это прозвучит.

Мысль успевает дойти до конца, и тут же её накрывает страхом, настоящим, физическим, с холодком в животе. Потому что за этой мыслью немедленно встает следующая: и что тогда. Если признать, то дальше-то что. Выйти утром к завтраку и сказать отцу, что его проект устал? Он посмотрит поверх очков, скажет «не выдумывай», и будет по-своему прав, потому что любая альтернатива, которую она сумеет придумать, разваливается на третьей секунде.

Она закрывает глаза и начинает считать, как учили в детстве: вдох на четыре, задержка на четыре, выдох на шесть.

Дыхание слушается, мысли нет. Полоса на потолке остаётся видна даже сквозь веки, тонкая и белая.

Засыпает она где-то после трёх, когда дом окончательно затихает и даже холодильник перестаёт вздрагивать. Последнее, что она успевает поймать перед тем, как провалиться, похоже на ощущение, с каким трогаешь языком зуб, в котором появилась трещина: ничего не болит, ничего не изменилось внешне, но целым он уже не будет.

* * *

Снег за ночь подтаял и снова схватился, и весь первый этаж пахнет мокрой шерстью, реагентом и кофе из автомата, который ломается раз в неделю и каждый раз по-новому. Катя идёт от гардероба к лестнице, держа в руке стакан с капучино, который взяла не потому, что хотела, а потому что четыре часа сна требуют допинга. Под глазами тональник на полтона плотнее обычного. Волосы она утром сушила дольше, чем всегда, и сама заметила это только в машине.

Коридор второго этажа узкий в том месте, где расписание, и там всегда пробка: кто-то фотографирует изменения, кто-то делает вид, что фотографирует, чтобы постоять рядом с нужными людьми. Катя обходит пробку слева, по стенке, и ровно в этот момент навстречу идёт он.

Серая куртка, та самая, про которую она вчера сказала гадость. Рюкзак на одной лямке. Он смотрит на неё за полшага до того, как она успевает решить, смотреть ли ей. Взгляд спокойный, без вчерашнего, без вопроса, без победы — про-

сто узнавание, как здороваются с человеком, которого видят каждый день и с которым не о чем говорить. Катя не отводит глаза первой, но и не удерживает их дольше необходимого. Расходятся. Между плечами сантиметров двадцать.

И всё. Ни реплики, ни кивка, ни выражения лица, которое можно было бы потом разобрать на детали, лёжа в темноте. Она идёт дальше, и ей требуется три шага, чтобы понять: она ждала, что он что-нибудь скажет. Что продолжит. Что хотя бы посмотрит иначе. Такого, по-хорошему, вообще не должно быть в голове, потому что вчера она назвала его психом и ушла, и после этого правильный сценарий один — не замечать, пока он не станет фоном вроде расписания на стене.

Стакан греет ладонь сквозь картон.

— Морозова.

Рома материализуется справа, как всегда, с той стороны, откуда она его не ждёт, хотя ждёт всегда. Он на голову выше потока, и поток вокруг него сам собой расступается, что, вероятно, и есть главное Ромино умение в жизни.

— Доброе утро, — говорит Катя, не оборачиваясь.

— Я тут про твоего, — он делает паузу, подбирая, и выбирает худшее из возможного, — философа.

— Он не мой.

— Ну, про которого ты сказала не трогать. — Рома идёт рядом, подстраивая шаг, и голос у него падает до доверительного полутона, каким в этих стенах передают по-настоящему ценное: кто с кем, кто чей, кого отчислили. — Я вчера вече-

ром мать от сестры забирал, это у чёрта на рогах, за МКАДом почти. Полдвенадцатого ночи. И вижу его. Выходит из какой-то коробки, там вывеска в три буквы горит, половина лампочек сдохла. Спортзал для нищих, короче. С мешками.

— С какими мешками.

— С мусорными. — Рома усмехается, довольный, что она переспросила, и принимает это за интерес к теме, а не к детали. — Вот тебе и гордый. Днём нам тут про броню рассказывает, ночью баки катает.

Катя делает глоток. Кофе горячий, картон мягкий под пальцами, где она его сжала.

— Увлекательно, — говорит она тем тоном, которым закрывают разговоры о чьей-то новой машине. — Ты мне это зачем?

— Я подумал, ты захочешь знать.

— Я не хочу.

Рома пожимает плечами, с тем выражением, с каким человек прячет в карман пригодившуюся позже карту, и сворачивает к своим, у окна. Катя идёт дальше одна, и всё вроде бы закончилось правильно: она не проявила интереса, не задала ни одного вопроса, тема погашена на корню и больше не всплывёт. Всё чисто.

Только в голове остаётся картинка, которую она не заказывала. Половина двенадцатого ночи. Окраина, фонарь через один, снег перемешан с песком до цвета каши. Человек в серой куртке выносит мешки к бакам и возвращается внутрь.

И ни одного зрителя. Вот что не складывается: ни одного зрителя. В её мире всё, что делается, делается при свидетелях, иначе непонятно, зачем вообще тратить вечер. Все их рестораны на Пресне, все их фотографии, все эти дни рождения с фотографом — это способ подтвердить, что ты существуешь, потому что кто-то видел. А в двенадцать ночи за МКАДом тебя не видит никто, и значит, ты делаешь это не для кого-то. Ты просто это делаешь.

«В каком, интересно, зале». Мысль формулируется сама, целиком, до конца, прежде чем Катя успевает её перехватить, и тут же следом идёт вторая, с неприятной трезвостью: это как ты сейчас собралась выяснять? Спросить Рому, в какой стороне был этот ангар? Он решит, что она вернулась к плану, и обрадуется. Спросить у Вики? Вика вчера вечером и так смотрела на неё, как на человека, которого подменили в гардеробе. Поехать самой за МКАД, искать вывеску с перегоревшими буквами, как сыщик из плохого сериала.

Зачем. Вот на этом месте мысль каждый раз запинаясь. Зачем ей знать, где он подрабатывает. Он ей никто, он ей неприятен, он сказал ей вчера то, после чего нормальные люди не здороваются.

Катя останавливается у окна в конце коридора, где батарея и всегда душно, и допивает кофе, глядя на двор, на вытопанную до асфальта тропинку наискосок через газон, по которой все ходят, хотя рядом есть дорожка. Внутри собирается объяснение, и она его принимает, потому что оно удоб-

ное: ей просто любопытно. Любопытство — вещь нейтральная. Она и про Крестовского собирала сведения не из страсти к Крестовскому. Она вообще любит понимать, как устроены люди, из чего они сделаны и где у них рычаг. Это полезный навык, отец бы одобрил, он всегда говорит, что в человеке важно найти цену. Так что это не интерес к нему, это исследование. Холодное. Со стороны.

Объяснение держится ровно до того момента, пока она не ловит себя на том, что уже минуту смотрит не во двор, а на собственное отражение в тёмном от зимы стекле: девушка в кашемире, с пустым стаканом, стоит у батареи вместо того, чтобы идти в аудиторию, где её ждут трое, которым она ничего не расскажет.

Звонок. Она отталкивается от подоконника, выбрасывает стакан и идёт по коридору к триста двенадцатой, и походка у неё та же самая, выверенная, и люди расступаются так же. Просто где-то между лопаток сегодня чуть свободнее, как будто вещь, которую она носит каждый день, ночью отпустили на полразмера, и она ещё не решила, заметила это или нет.

Глава 3.

Водитель открывает дверь раньше, чем она успевает достать телефон, и держит её ровно под тем углом, под которым держал последние два года, и Катя вдруг понимает, что ни разу не видела, как он садится в машину сам.

— Сергей, я сегодня за рулём.

Он кивает не сразу. Секунда задержки у него всегда означает одно и то же.

— Александр Викторович говорил, что к семи...

— К семи я буду. Поезжайте.

Он отдаёт ключи, аккуратно, двумя пальцами за брелок, и отходит на полшага, и она садится в свой белый GLB, который на парковке стоит третьим от входа, потому что первые два места всегда занимает чёрная охрана чьих-то отцов. Салон холодный, пахнет химчисткой и кожей, кожа держит запах недели две после мойки, потом выветривается. Катя заводит, включает подогрев руля и сидит, глядя, как Сергей идёт к служебному «Мерседесу», доставая на ходу телефон. Позвонит. Не отцу, конечно. Просто поставит в известность. В этом доме никто никогда не докладывает, все просто ставят в известность.

Стекло медленно светлеет от обдува, и в оттаявшем пятне проявляется парковка, грязный снег с жёлтыми разводами реагента, студенты у крыльца.

Уборщиком. Вот что не вяжется.

Рома сказал это вчера легко, между делом, как подают закуски: «Прикинь, он по ночам полы моет, где-то за кольцом, пацаны видели». И в его голосе было удовольствие человека, который принёс хозяйке дохлую мышь и ждёт, что похвалят. Она тогда сказала: интересно, и отвернулась, и Рома остался стоять с этой своей мышью.

Проблема не в том, что уборщик. Проблема в арифметике. Человек, который моет полы в ангаре за МКАДом с полуночи до четырёх, в десять утра должен выглядеть как человек, который моет полы с полуночи до четырёх. Серая кожа, красные веки, запах дешёвого кофе. А Хоторов сидит у окна, держит спину, отвечает преподавателю так, будто у него в запасе ещё сутки, и когда она вчера прошла мимо вплотную, нарочно задев рукавом, он даже не повернул головы. Манжета чистая. Руки лежат на столе спокойно, и на костяшках плоские, затёртые до блеска мозоли, которых не бывает у тех, кто просто живёт.

Катя переключает на драйв и выезжает с парковки, подрезав чей-то «Гелендваген», и ей за это сигналият, и она не реагирует.

Значит, Рома врёт. Или ему соврали. Или видели не его. В конце концов, в серой куртке за кольцом все одинаковые.

На светофоре у Вернадского телефон коротко вздрагивает в держателе. Вика, общий чат.

«Девочки, у Светы в пятницу. Родители в Эмиратах до

десятого, прислуга отпущена, можно не стесняться))) Катя, твой ответ решает, Ромка спрашивал брать ли Серёгу с собой»

Ниже сразу фотография гостиной с панорамным окном, сделанная Светой ещё летом, зачем-то, видимо, чтобы было понятно, куда зовут.

Катя смотрит на экран дольше, чем нужно, чтобы прочитать. Она знает, как это выглядит изнутри: белый диван, на который все садятся по краю, чтобы не помять, суши из «Тануки», которое заказывают не потому, что хотят, а потому что так заведено, Света будет разливать шампанское и говорить «мы же свои», Вика будет снимать сторис и четыре раза переснимать, Рома будет громко рассказывать про отца. И где-то к половине первого кто-нибудь обязательно спросит, что там с новеньким, и все посмотрят на неё, потому что вечер без её приговора считается несостоявшимся.

Зелёный. Сзади гудят.

Она трогается, не ответив, и это странно ощущается физически, как будто не дописала слово. Обычно она отвечает в ту же минуту, двумя словами, потому что пауза в их чате читается как слабость, как «она думает», а королева не думает, королева решает. Телефон вздрагивает ещё раз, потом ещё. Катя переворачивает его экраном вниз.

Развязка на Ленинском, сплошной красный хвост до самого моста, февральская каша под колёсами, дворники размазывают по стеклу серую соль. Домой — направо, потом по

набережной, потом Остоженка, подземный паркинг, лифт, мать за ноутбуком на кухне с ироничным «ты рано», отец к девяти, ужин, разговор о её летней стажировке, который будет вестись так, будто она при нём не присутствует.

Указатель на кольцевую возникает раньше, чем она успевает придумать себе причину, и Катя перестраивается в левый, спокойно, без суеты, как человек, который едет по делу.

Ничего не происходит. Она просто проверяет информацию. В её семье не принято держать в голове непроверенные сведения, отец это называет грязными данными и за грязные данные снимает людей с должностей. Рома сказал — Катя поехала и посмотрела. Увидит обычный ангар, обычную парковку с «Ладами», поймёт, что всё это чушь, и вернётся на Остоженку к семи, с чистой головой и без этого зудения между лопатками.

На съезде она останавливается на обочине, включает аварийку и берёт телефон. Фуры проходят слева так близко, что машину качает воздухом.

Как он сказал. Некрасовка. Какой-то проезд без названия, владение четыре. «Пацаны по Яндексy смотрели, там спорткомплекс, то ли "Темп", то ли "Старт", у них половина букв на вывеске не горит».

Она вбивает в поиск «спорткомплекс Некрасовка», и карта послушно разворачивается в точку на самом краю города, где кончаются дома и начинается серая штриховка промзоны. Сорок семь минут. Маршрут тянется через всё кольцо,

тонкой синей ниткой, и выглядит на экране как чья-то чужая жизнь.

Катя смотрит на эту нитку и ловит себя на том, что в машине, кроме неё, никого нет. Ни Сергея впереди, ни Вики справа, которая всю дорогу говорила бы о Свете, ни охраны сзади. Она не помнит, когда последний раз ехала куда-то одна дольше двадцати минут, и это странно: не неприятно, а именно странно, как пустая квартира после ремонта.

Она выключает аварийку и уходит направо, в поток.

* * *

Навигатор говорит «вы прибыли» голосом вежливой женщины, которая никогда здесь не была.

Катя сбрасывает скорость и едет вдоль бордюра шагом, потому что дорога тут кончается раньше, чем кончается необходимость в ней: асфальт переходит в плиты, плиты в утоптанную наледь, а слева тянется бетонный забор с мотком колючей проволоки поверху, уже наполовину съеденный ржавчиной. За забором что-то гудит ровно и бессмысленно, как холодильник. Фонарь на углу работает, следующий нет, третий тоже, и в этой темноте здание выступает не сразу, а частями, как мебель в чужой комнате.

Панельная коробка в два этажа, с торца пристройка из силикатного кирпича. Окна в сетке, часть покрашена белым изнутри. Над входом вывеска, и буквы в ней горят через одну, так что получается «Т Е П», и Катя смотрит на это секунды три, честно пытаясь прочесть. Значит, всё-таки «Тепл».

Ромка будет рад, он ставил на «Старт».

Она останавливается напротив крыльца, не глуша двигатель. На парковке четыре машины: «Нексия» с номером, залепленным снегом до нечитаемости, две «Лады», одна из них с крестовиной и запаской в багажнике, и «Ларгус» с надписью на борту про доставку питьевой воды. Сугробы вдоль бордюра не убраны, их просто сдвинули трактором в длинные валы, и теперь эти валы стоят, присыпанные чёрным, с воткнутой кем-то пустой бутылкой. Снег тут не белый. Снег тут цвета грязного полотенца.

В салоне работает подогрев сиденья, пахнет кожей и тем ванильным, что оставляет после себя химчистка, и всё это вместе ощущается как ошибка в адресе. Не в её адресе. В адресе мира.

Катя думает про свой зал на Малой Бронной, и мысль приходит сама, непрощеная, с готовым сравнением. Там на ресепшене стоит вода с огурцом и мятой в стеклянном диспенсере, который протирают каждый час, там полотенца пахнут эвкалиптом и лежат рулонами, свёрнутые одинаково, как патроны в обойме. Там в раздевалке мраморный столик с расчёсками, а девушка на входе знает её по имени и спрашивает, оставить ли шестой шкафчик. Её персональный стоит дороже, чем вот эта «Нексия», вероятно, вместе с зимней резиной. И где-то в этом здании с перегоревшими буквами, по словам Ромы, ночами моет полы человек, который сидит с ней на одной лекции по международным финансам.

Сравнение настолько нелепое, что даже не обидное. Это как сопоставлять бриллиант с пуговицей: не хуже, не лучше, просто из разных отраслей человеческой деятельности. Катя ловит себя на короткой усмешке и отмечает, что усмешка вышла не очень убедительной, как будто она улыбается не кому-то, а в зеркало заднего вида, для себя.

Потому что место дурацкое, да. Но она в нём сидит.

Из подъезда напротив выходит женщина в пуховике до пят, волоком тащит санки с двумя пакетами, и санки на наледи ведёт боком. Где-то лает собака, из тех, что лают не на кого-то, а по расписанию. На крыльце спорткомплекса курит мужик в спортивных штанах и куртке нараспашку, стоит на морозе так, будто ему всё равно, и это тоже какая-то местная способность, которой Катя не владеет.

Она разворачивается на пяточке перед крыльцом, чтобы встать носом к выезду, и фары проходят по торцу здания, и тогда она замечает угол.

Там, в стороне от входа, за пристройкой, короткий заезд, утоптанная площадка и три мусорных контейнера, два зелёных и один без крышки. Снег вокруг них испятнан, у бортика примёрзла растоптанная картонная коробка. А в стене железная дверь, крашенная синим поверх ржавчины, с лампочкой в проволочном наморднике над косяком. Под лампочкой белая табличка, и даже отсюда читается, потому что надписи такие пишут одинаково по всей стране: служебный вход.

Вот туда, стало быть, и выносят.

Катя смотрит на эту дверь чуть дольше, чем нужно, чтобы её разглядеть. В её мире служебные входы тоже есть, просто они устроены иначе: в ресторане на Большой Никитской официанты появляются из ниоткуда, в офисе у отца люди в серой форме моют стеклянные перегородки в семь утра, до приезда сотрудников, и к девяти стекло уже без разводов, а людей нет. Это не прячут, это просто не показывают, и разница между «прячут» и «не показывают» всегда казалась ей технической.

Дверь закрыта. Лампочка над ней не горит. Контейнеры стоят, как стояли, и снег у них нетронутый с краю, значит, сегодня никто ничего не выносил.

И вот тут наступает облегчение, такое отчётливое, что его можно потрогать.

Никого нет. Информация не подтвердилась. Рома услышал от кого-то, кто услышал от кого-то, и в этой цепочке по дороге отвалилась правда, как обычно и бывает, потому что в их компании факты передаются со скоростью, обратно пропорциональной их достоверности. Хоторов не моет здесь полы. Хоторов сидит сейчас дома, зубрит свои финансы и выглядит при этом так же невозмутимо, как выглядел вчера, когда она пообещала ему, что он пожалеет. Отец бы сказал: грязные данные, источник некомпетентен, вопрос закрыт.

Она даже не выходила из машины. Это важно. Она не сделала ни одного шага, ни с кем не говорила, никто её здесь

не видел, и значит, этой поездки как бы не было вовсе: сорок семь минут по кольцу, промзона, валы чёрного снега, диспенсер с огурцом за сто километров отсюда. В понедельник она скажет Роме, чтобы он проверял, кого слушает, и скажет негромко, и этого хватит.

Телефон на пассажирском сиденье дёргается коротко, и экран подсвечивает подстаканник. Наверное, Вика. Пусть лежит.

Катя кладёт руку на селектор, трогает подушечкой пальца холодную кожу оплётки и уже прикидывает маршрут обратно: до кольца, потом против часовой, потом набережная, и дома она будет к половине восьмого, успеет сказать матери, что заезжала к Свете.

Дверь под негорящей лампочкой открывается наружу, толчком, изнутри, и в проём выпадает длинный жёлтый прямоугольник света.

* * *

Свет из проёма ложится на снег жёлтым, и в этом прямоугольнике сначала появляется мешок, а потом уже человек.

Мешков два, чёрные, набитые до предела, с узлами наверху, и несёт он их в опущенных руках, чуть отставив от себя, чтобы не били по коленям. Дверь он придерживает плечом и выпускает спиной, и она захлопывается сама, коротко лязгнув железом, и звук этот доходит до машины с опозданием в полсекунды, как гром. На нём серая толстовка, растянутая в горловине, рукава закатаны до локтя, несмотря на мо-

роз, спортивные штаны с вытертыми коленями и кроссовки, зашнурованные кое-как. Голова непокрытая. От волос идёт пар.

Катя не успевает завести двигатель. Рука остаётся на селекторе, пальцы на холодной оплётке, и вся она делается неподвижной тем особым способом, каким замирают, когда в комнату входит тот, о ком только что говорили.

Хоторов.

Первое, что она ловит, не мысль даже, а что-то до мысли: он не выглядит жалким. Это неправильно. Это противоречит самому устройству картинки, потому что человек с двумя мешками мусора у контейнера за панельной коробкой в промзоне обязан выглядеть именно жалким, иначе зачем вообще смотреть. Но он идёт ровно, без суеты, с тем сосредоточенным безразличием, с каким люди делают дело, которое делали вчера и будут делать завтра, и лицо у него занято не собой, а узлом на левом мешке, который, видимо, подтекает или вот-вот развяжется.

Он её не видит. Между ними метров двадцать, её машина стоит боком, фары погашены, и в сумерках она внутри салона скорее темнота, чем женщина.

У неё есть несколько секунд, и она тратит их на ожидание.

Ждёт она очень конкретного. Ждёт момента, когда он поднимет голову, узнает профиль машины, выхватит её лицо за стеклом, и тогда с ним произойдёт то, что всегда происходит. Вот как это бывает: сначала короткий сбой, чело-

век на полвздоха перестаёт дышать, потом руки начинают искать, куда себя деть, потом включается речь. Речь всегда включается. Ромка в таких случаях смеётся первым и громче всех, потому что смех забирает позор себе и превращает его в шутку, и она видела, как он это делает десятки раз. Света начала бы объяснять: это для челленджа, это на спор, мне за это заплатят больше, чем ты думаешь. Один мальчик с их курса, у которого отец разорился в прошлом году, целый месяц ездил на метро и выходил за две остановки до университета, чтобы никто не видел; он врал про машину в сервисе так подробно и так долго, что ложь стала больше машины.

Так устроен мир. Человека ловят, и человек объясняется. Катя знает это не из книг, она выросла в доме, где за столом всегда кто-нибудь объяснялся.

Алексей доходит до контейнеров и поднимает голову.

Он смотрит на машину ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, что машина чужая и стоит не там, где обычно стоят машины. Потом чуть щурится, и Катя понимает по этому прищуру, что он разглядел её. Жёлтый свет лампочки под намордником до неё не достаёт, но и темноты уже не хватает.

И вот теперь, пожалуйста.

Он кивает.

Это даже не кивок приветствия, в нём нет ни вопроса, ни удивления, ни, тем более, узнавания в том смысле, в каком узнают неприятность. Так кивают соседу в лифте, когда две-

ри открываются, а разговаривать не о чем. Голова опускается на сантиметр и возвращается, брови остаются где были, и всё.

Потом он поворачивается к контейнеру.

Крышка примёрзла, он сбивает её ребром ладони, коротко и без злости, и она отходит с деревянным стуком. Первый мешок летит внутрь, глухо. Со вторым сложнее, он берёт его двумя руками снизу, приседает, поднимает на борт, и мешок переваливается, что-то в нём звякает стеклом. Он отряхивает ладони о штаны, подбирает ту самую картонную коробку, примёрзшую у бортика, отдирает её от наста рывком и запикивает следом.

Он не смотрит на машину больше ни разу.

Вот это и есть самое непонятное. Он не демонстрирует, что ему всё равно, потому что демонстрацию Катя увидела бы сразу: у демонстрации всегда есть лишнее движение, лишняя пауза, подбородок чуть выше нужного. Она различает эти вещи с десяти лет, она выросла среди людей, у которых весь разговор состоит из лишних движений. У него лишних движений нет. Он просто занят мусором и занят им до конца, до картонки.

Внутри неё в этот момент что-то даёт сбой, и сбой этот физический. Она готовилась к короткому и сильному чувству, у которого даже имя есть: поймала. Это чувство хорошее, оно тёплое и быстрое, как глоток, оно всегда приходило в ответ на чужое унижение и ставило её на верхнюю полку.

Чувство не приходит. Там, где ему полагается быть, пустое место, и в пустое место немедленно затекает что-то другое, холодное и неудобное, и имени у этого пока нет.

Хуже всего то, что смотреть на него оттуда, где она сидит, вдруг становится неудобно именно ей.

Катя открывает дверь раньше, чем решает её открыть.

Мороз берёт сразу, по-зимнему честно: воздух входит в горло и царапает, пальто расстёгнуто, каблук уходит в снег у бордюра по самую подошву, и она чувствует, как колючая крупа сыплется в туфлю. Где-то за спиной, на МКАДе, идёт свой бесконечный гул. От контейнера пахнет мокрым картоном и чем-то кислым.

Она стоит у машины, держась за верх двери, и не знает, зачем вышла.

Он смотрит на неё через двадцать метров пустой площадки, вытирая ладонь о штанину, и ждёт, спокойно и без интереса, как ждут человека, который сам пришёл и, значит, сам скажет первым.

* * *

Она делает два шага от машины, и снег под каблуком проваливается с тем звуком, с каким ломается вафля. Мысль, что туфли от Санторо стоят, примерно, как две зарплаты человека, который сейчас стоит у контейнера, приходит сама и оказывается не острой, а тупой, как брошенный мимо камень.

— Слушай, а это что, вторая смена? — говорит она, и го-

лос выходит выше, чем она хотела, легче, с той самой ленивой тягучестью, которая в аудитории работает безотказно. — Или ночная? Тебе доплачивают за вредность, или просто за красивые глаза?

Фраза вылетела и повисла. Катя знает, как она должна приземлиться: человек должен дёрнуться плечом, начать объяснять, что это временно, что он помогает другу, что вообще-то он здесь случайно. Вариантов пять, она их все наизусть знает, у неё в телефоне есть приятели, которые по полгода объясняли, почему у них отключили картхолдер. Главное в этих объяснениях не содержание, а то, что человек начинает говорить быстрее, чем раньше.

Алексей складывает руки на груди, точнее, просто поднимает их и сует ладони под мышки, потому что без перчаток, и он уже минуту на морозе.

— Ночная не бывает, тут всё закрывается в десять, — отвечает он спокойно, глядя ей в лицо. — Я убираю зал и раздевалки после вечерних групп. За это мне дают заниматься бесплатно и ключ от зала в воскресенье утром.

Он произносит это ровно, не понижая голоса и не повышая, с той будничностью, с какой человек сообщает, что у него по вторникам семинар во второй половине дня и поэтому обедать он будет позже. Ни запятой на жалость, ни паузы на гордость.

Катя ждёт продолжения, потому что продолжение обязательно быть. Все, кого она знает, после такой фразы обязательно

добавляют ещё одну: «пока так», «потом разберусь», «отец сейчас в непростой ситуации». Эта вторая фраза и есть то, ради чего затевается разговор, в ней человек сам себя закапывает, а ты только стоишь рядом с лопатой. Он молчит. Пар от его дыхания сносит в сторону, к жёлтой лампочке под козырьком, и там он становится виден весь, плотный и быстрый.

Тогда она начинает искать в его лице, и ищет внимательно, как ищут трещину на экране телефона, повернув его к свету.

Она умеет это с детства. На приёмах у отца она научилась различать, кто из гостей действительно приглашён, а кто пришёл просить: по углу рта, по тому, как человек держит бокал, по полусекундной задержке перед смехом. Унижение всегда видно, оно выходит наружу мелкими вещами: слишком прямой спиной, слишком быстрым взглядом в сторону, лишним словом в конце предложения. Его невозможно спрятать, его можно только перекрыть агрессией, и агрессия тоже видна.

В лице Алексея нет ничего. У него покрасневшие от холода скулы, на светлых коротких волосах тает снежная крупа, на рукаве старой толстовки серое пятно от чего-то, похожего на мел. Он смотрит на неё прямо, карими глазами, в которых нет ни вызова, ни просьбы, и ждёт, что она скажет дальше, потому что разговор начала она.

И вот от этого внутри поднимается настоящая, горячая,

совершенно детская злость. Если бы он смутился, если бы соврал про друга или про подработку «на время сессии», она бы уехала домой через три минуты, довольная, с восстановленным порядком вещей. Он не смутился, и теперь получается, что из них двоих неловко стоит на морозе в расстёгнутом пальто и с мокрой ногой только она, Катя Морозова, которая вообще-то приехала сюда проверить слух. Выходит, что приехала она. Выходит, что смотрит она. Выходит, что весь этот разговор зачем-то нужен ей, а не ему, и он это видит так же спокойно, как видит примёрзшую крышку контейнера.

— Понятно, — говорит она, и слово получается пустым.

Он кивает, переступает с ноги на ногу, и по этому движению становится ясно, что у него ботинки тонкие и ноги у него давно остыли.

— Ты сколько тут сидишь? — спрашивает он. — Минут пятнадцать, наверное. С выключенным двигателем, я смотрел, выхлопа не было.

— Какая разница.

— Замёрзла, значит, — он коротко показывает подбородком на дверь. — Пойдём внутрь, там тепло, у вахтёра чайник. Пять минут посидишь, отогреешься и поедешь. У нас отопление дурное, в коридоре батареи шпарят так, что окно открывают.

И опять всё не так. Её приглашают куда-то по десять раз в неделю, и в каждом приглашении лежит ясный счёт: кто кого

позвал, при ком, что из этого потом можно будет рассказать. В его словах этого счёта нет совсем, он зовёт её в коридор к чайнику ровно потому, что человек стоит на улице в тонком пальто и у него покраснели пальцы, и ни по какой другой причине. Хуже всего, что она на секунду действительно хочет туда, в этот дурацкий жаркий коридор с батареями, с запахом хлорки и мастики, где надо сидеть на чём попало и пить кипяток из чужой кружки.

— Нет, — отвечает она, и получается громче и грубее, чем нужно, почти как хлопок. — Спасибо, обойдусь. Мне не настолько интересно, как вы тут живёте.

Вот теперь он должен обидеться. Она даже слышит, как внутри неё что-то облегчённо вздыхает: ну наконец, нормальная реакция, сейчас будет нормальный человек.

Алексей чуть опускает голову, точно соглашаясь с тем, что приглашение действительно не обязательно принимать, и говорит:

— Ну нет так нет. Ты тогда машину прогрей, пока сидишь, а то стекло запотеет.

Он поворачивается и идёт к служебной двери, подбирая по дороге обрывок плёнки, прилипший к сугробу. Идёт не быстро и не медленно, спина прямая, но не нарочито, ботинки скрипят по накату. У двери он берётся за ручку, и железо отходит с длинным скрежетом, и на снег ложится полоса жёлтого света, в которой видно, как летит мелкая снежная пыль.

Дверь закрывается. Полоса света исчезает, будто её стёрли ладонью.

Катя остаётся одна посреди площадки, в двадцати метрах от своей машины, которая стоит с незапертой дверью и светящейся панелью внутри. Снег в туфле растаял окончательно, и колготки липнут к ступне. От МКАДа идёт гул, ровный и безразличный, как шум крови в ушах.

Она стоит ещё секунд десять, глядя на закрытую железную дверь, и никак не может сообразить, почему, собственно, у неё такое чувство, будто ей отказали.

* * *

Машину она так и не заводит. Вместо этого идёт вдоль стены, туда, где от торца тянется утоптанная тропинка между сугробом и цоколем, и снег там сизый от фонаря. Туфли для этой тропинки не предназначены, как не предназначены они ни для чего из происходящего с ней последние двадцать минут, но она идёт, держась рукой за холодную шершавую плитку, и думает о том, что если кто-нибудь из своих увидит её сейчас, объяснить это будет нечем.

Окна зала начинаются невысоко, на уровне её плеча. Два из трёх занавешены плотно, выцветшей тканью неопределённого цвета, а третье задёрнуто небрежно: кто-то тянул штору второпях, и осталась щель ладони в полторы. Из щели на снег падает полоса света, желтее уличного, и в этой полосе лежат чьи-то старые следы, уже подмёрзшие по краям.

Катя подходит и смотрит.

Зал оказывается маленьким, меньше, чем она думала. Линолеум цвета печени, на нём постелены синие маты с заклеенными скотчем углами. По стене висит шведская лестница, выкрашенная белым столько раз, что перекладины стали толще, чем были задуманы. В дальнем углу стоит ведро и швабра, и Катя понимает, чьё это ведро, и быстро переводит взгляд.

Детей восемь, может, девять. Лет по девять-десять, и оде- ты они кто во что: двое в чёрных кимоно явно с чужого плеча, рукава подвёрнуты и прострочены вручную, остальные в спортивных штанах и футболках, у одной девочки футболка с котёнком и надписью по-английски, которую даже отсюда видно, что писали не носители языка. Они стоят в две неровные шеренги и делают что-то руками, сперва медленно, потом быстрее, одинаково и неодинаково одновременно.

Стекло холодное. Катя дышит в сторону, чтобы не запотело, и ловит себя на этом движении, как на чём-то постыдном.

Крайний слева мальчик выпадает из ряда постоянно. Худой до прозрачности, с торчащими из воротника ключицами, волосы подстрижены коротко и неровно, будто дома машинкой. Он приседает в стойку, и его тут же начинает вести вбок, он переступает, краснеет, возвращается, и через четыре секунды его ведёт снова. Остальные уже перешли к следующему, а он всё ищет, куда девать собственный вес.

Алексей появляется в поле зрения сбоку, и Катя сначала не узнаёт его. Он переоделся: чёрные свободные штаны,

простая футболка, волосы ещё влажные у висков, как будто сунул голову под кран. Без толстовки и без мешков он выглядит моложе и как-то определённое, словно до этого был накрыт чехлом.

— Дим, — говорит он, и голос через стекло доходит глухо, но слова разбираются. — Не ногами держись. Коленями внутрь чуть.

Он садится на корточки рядом с мальчиком и берёт его за руки, за предплечья, разворачивает локти ближе к корпусу. Что-то говорит, негромко. Мальчик кивает так быстро, что видно: не понял, но боится в этом признаться. Алексей отпускает, отходит на шаг, и мальчика опять уносит вбок.

Катя ждёт. Ждёт честно, с той холодной готовностью, с какой ждут знакомого. Сейчас будет вздох. Или «ну сколько можно», сказанное ровным голосом, от которого хочется провалиться сквозь линолеум. Её тренер по теннису, Марк, в Крылатском, выдерживал три ошибки, после третьей начинал разговаривать с ракеткой вместо неё. Репетитор по макроэкономике говорил «Катя, мы это проходили», и в этом «проходили» было столько усталости за семь тысяч в час, что она потом полвечера доказывала себе, что не идиотка.

Алексей возвращается и садится на корточки снова. И поправляет те же руки, в том же месте, теми же двумя движениями, которые делал минуту назад и, судя по всему, делал на прошлой тренировке, и на позапрошлой. Лицо у него при этом ровно такое же, какое было во дворе над примёрзшей

крышкой контейнера: ничего не происходит, обычное дело, стойка не ловится, значит, будем ловить дальше.

Он что-то говорит, и мальчик вдруг смеётся. Коротко, одним выдохом. И стоит ещё секунды четыре, не заваливаясь.

Справа девочка с двумя тощими косичками, заплетёнными, по всей видимости, ею же самой, мажет блок и попадает ладонью себе по щеке. Звука не слышно, но Катя видит, как у девочки распахиваются глаза, как она хватается за эту щёку и начинает хохотать, запрокинув голову, и косички у неё прыгают. Остальные тоже смеются, и мальчик Дима смеётся, забыв про свой вес.

— Саш, — говорит Алексей, — ты сама себя уже победила, дальше неинтересно.

И смеётся с ними. Не поощрительно, не сверху, не как взрослый, который отмеряет детям ровно столько веселья, сколько положено по программе. Он просто смеётся, потому что смешно, и девочка Саша показывает ему красную щёку, и он показывает ей, как надо было, и опять мажет нарочно, и они оба заходятся.

Катя стоит у стекла и зачем-то начинает считать.

Сегодня утром Вика смеялась в коридоре на втором этаже, когда рассказывала про чью-то мать, сделавшую губы. Света смеялась в чате, буквами. Рома смеялся вчера, когда говорил про уборщика за МКАДом, и смех у него был такой, каким перед тобой выкладывают карту на стол: смотри, какая у меня масть. Она сама смеялась в «Тануки» в субботу,

и смеялась, кажется, правильно, в нужном месте, потому что все за столом тоже смеялись в нужном месте.

Ни одного. За весь день, за всю неделю, если честно, за год.

У них там смеются точно, адресно, всегда над кем-то и всегда при ком-то, кто должен это увидеть. А здесь девочка с кривыми косичками вlepила себе по лицу, и восемь человек хохочут вместе с ней, и ей от этого не хуже, а лучше, и она сейчас встанет и попробует ещё раз.

Пальцы на подоконнике онемели. Катя убирает руку, прячет в рукав и не отходит.

* * *

Стекло у подоконника запотело от её дыхания, и Катя отодвигается на полшага, чтобы не замазать себе картинку. Внутри зала Алексей переставляет детей парами, кто-то путает, с кем встал, и вся восьмёрка перемешивается, как горох по полу.

Вчера в это же время она сидела за столом и ела дораду.

Ужинали вшестером. Гладышев с женой, кто-то из банка, фамилию она не запомнила, отец, мать и она. Повар сделал дораду с фенхелем, отец открыл барбареско и сказал про него то же, что говорит про него всегда, и Гладышев кивнул так, как кивают человеку, у которого в этом доме надо кивать. Катя сидела справа от матери и считала минуты до того момента, когда можно будет сказать «мне завтра к девяти» и уйти наверх.

Отец заговорил про неё на закуске. Потом ещё раз, когда принесли рыбу. Потом в третий раз, уже за десертом, когда жена Гладышева спросила что-то невинное про планы на лето.

— Катерина у нас на мэо, — сказал он. — Международные экономические. Там, знаете, не поступают, туда попадают.

И эта пауза после, в которую все должны были что-то положить. Гладышев положил: «ну, Александр Викторович, яблоня-то вот она». Отец принял, не отказываясь. Он всегда принимает. Он рассказывает про её факультет ровно так, как рассказывает про завод в Калуге и про то, как в две тысячи четвёртом перехватил площадку под носом у людей, которых потом не стало на рынке. Один список. Одна интонация собственника, перечисляющего, что у него есть.

Мать посмотрела тогда на неё поверх бокала. Коротко, без выражения, и отвела глаза первая.

Катя переминается с ноги на ногу. Снег под сапогами скрипит по-другому, чем на Остоженке: там его убирают до асфальта, а здесь он слежался в серый панцирь, и в нём отпечаталась чья-то подошва с рисунком в ёлочку.

В зале мальчик Дима опять заваливается, и Алексей опять ничего ему не говорит, просто подставляет ладонь под локоть.

А Рома вчера нёс ей этот адрес, как официант несёт блюдо под крышкой. Вот, смотри, что у меня есть. Он не знал

про Алексея ничего такого, что стоило бы знать, он просто выяснил, где человек метёт полы, и пришёл с этим, потому что ему нужно было прийти с чем-нибудь. Рома рядом с ней не потому, что ему с ней интересно. Рядом с ней его пускают в места, куда его бы не пустили, его отцу иногда перезванивают, и один раз в прошлом году в Шереметьеве всё решилось за четыре минуты, потому что она назвала фамилию. Он платит за это информацией, смехом в нужном месте и готовностью поддержать дверь.

Вика — тем же самым, только тоньше. Вика умеет три года подряд говорить, какие у неё красивые скулы, и ни разу не сказать ничего, что Кате было бы неприятно услышать. За это Вика ездит на Сардинию, когда у них там летом дом, и на фотографиях стоит слева, у самой воды.

Света вообще не притворяется. Света честнее всех: она звонит, когда ей нужно, и не звонит, когда не нужно.

Катя пробует сделать в голове обратный список. Кто из её жизни сделал для неё хоть что-то, с чего потом ничего не получил.

Сергей возит её за зарплату и за то, что у отца водители держатся по восемь лет. Марк в Крылатском ставил ей удар за семь тысяч в час и разговаривал с ракеткой. Репетитор по макроэкономике вздыхал за те же деньги. Тренер по вокалу, которого ей брали в пятнадцать, рассказывал, что у неё редкий тембр, и ему верили ровно до того момента, пока он не попросил рекомендацию для своей дочери. Все что-то при-

носят, все что-то забирают, и это не подлость, это просто механика, и она выросла в ней, как рыба в воде, и до сегодняшнего вечера не замечала воды.

За стеклом человек, которому за эти два часа никто ничего не даст. Дети из интерната не позовут его в «Тануки», не перезвонят в Шереметьево, не поставят его слева у воды. Он тратит на них вечер, потом идёт мыть пол и вытаскивать мешки с чьими-то банановыми шкурками, чтобы ему разрешили позаниматься самому в чужом зале.

Выгоды — ноль. Она честно ищет и не находит, и от этого внутри делается пусто, как после экзамена, который она, оказывается, писала не по тому билету.

«Под всей этой бронёй — обыкновенная одинокая девушка».

Он сказал это негромко, не для зрителей, и она тогда чуть не ударила его сумкой. Она весь вечер потом крутила фразу и злилась на дешёвый приём: так разговаривают психологи из телеграм-каналов, на которые подписана Вика.

Сейчас фраза приходит снова и звучит иначе. Без яда. Без попытки её уязвить. Так говорят, когда называют вещь своим именем и идут дальше по своим делам.

Самое неприятное, что он тогда ничего с этого не получил. Ни лица, ни очков, ни зрителей. Просто сказал и пошёл.

Пар от дыхания снова затягивает стекло, и Катя вытирает его рукавом. Шуба на ней, кстати, совершенно не для стояния на ветру у торца панельной коробки; её покупали, чтобы

в ней три минуты идти от машины до входа в ресторан.

Мороз добрался до спины. Сначала она чувствует его в пальцах, потом в стопах, потом он поднимается выше, под лопатки, и там остаётся. Такой холод не проходит от печки в машине, его надо высиживать часами под пледом, и даже тогда он не уходит до конца.

В зале загорается верхний ряд ламп, и становится видно, какие у всех красные лица.

Катя стоит и мёрзнет.

* * *

Телефон начинает вибрировать в кармане шубы, и Катя вздрагивает так, будто её застали за чем-то постыдным. Она достаёт его негнушимаися пальцами, экран вспыхивает в темноте слишком ярко, и на секунду ей кажется, что в зале обернутся. Никто не оборачивается. Там своя жизнь, за мутным стеклом, с красными лицами и верхним рядом ламп.

«Вика». Фотография, на которой они обе в Форте Боярд прошлым летом, подбородки вверх, в кадре кусок чужой яхты.

— Да.

— Ты где вообще? — Вика говорит на том фоне, где уже играет музыка и кто-то смеётся в трубку через плечо. — Я тебе с четырёх пишу. Света обижается, она весь вечер на тебя рассчитывала, у неё там этот, ну, который с Патриков, он конкретно про тебя спрашивал.

Пар от её собственного дыхания поднимается к фонарю.

Катя смотрит, как он тает, и слышит свой голос, спокойный и чуть усталый, тот самый, которым она разговаривает с деканатом.

— В пробке стою.

— Где?

— На Садовом. Третий час уже ползём.

— Ужас какой, — говорит Вика, и в её голосе нет ни тени сомнения, потому что Катя не врёт никогда; Кате не нужно врать, Катя просто говорит, как есть, и все подстраиваются. — Так ты приедешь или нет? Ромка может за тобой заехать.

— Не надо. Я домой.

— Кать.

— Вика, я устала.

Пауза в трубке короткая, но Катя её слышит. Вика сейчас прикидывает, что означает «устала» в переводе на человеческий, не случилось ли чего, не пропустила ли она какую-то новость, из-за которой надо срочно перестраиваться.

— Ну ладно, — наконец говорит Вика. — Я тогда скажу, что ты болеешь.

— Скажи.

Она убирает телефон обратно в карман, и только тогда до неё доходит, что она сделала. До Светы отсюда даже не час, если по-честному: обратно через МКАД, потом Ленинский, потом ещё дворами. В противоположную сторону от всякого Садового. Она соврала не ради алиби, алиби ей не нужно, никто её не проверяет, она двадцать лет живёт так, что про-

верить её никому не приходит в голову.

Она соврала, чтобы они не узнали про это место.

Мысль выходит неудобная, с заусенцами. Катя пробует её переформулировать повежливее: не хочет объяснять, не хочет, чтобы Рома полез со своими островами, не хочет видеть, как Вика закатывает глаза и говорит «боже, это такая жесть». Но переформулировка не держится. Правда проще и мельче: у неё впервые есть что-то, что принадлежит только ей, и она инстинктивно прикрыла это ладонью, как прикрывают огонёк на ветру.

В зале заканчивают. Она видит, как дети собираются в кучу, как мальчик с тонкой шеей, Дима, что-то говорит Алексею снизу вверх, задрал голову, и Алексей отвечает ему одной фразой, и мальчик кивает серьёзно, как кивают взрослым, когда очень хотят, чтобы тебя считали взрослым. Девочка с косичками уходит первой, волоча за собой сумку по полу. Потом их всех втягивает в проём раздевалки, и зал остаётся пустой.

Алексей начинает собирать маты.

Катя отходит от окна. Идёт к машине по утопанному снегу, и каблучки проваливаются в колею, и шуба цепляется за обледеневший борт сугроба. Открывает дверь, садится, и в салоне её встречает запах кожи и того апельсинового освежителя, который Сергей меняет раз в месяц, не спрашивая. Руль холодный. Пальцы отогреваются медленно и неприятно, с покалыванием, будто в них впускают мелкий ток.

Она сидит и смотрит в окна зала. Сверху, через незадёрнутый край шторы, видно только полосу: пол, нижнюю часть стены, человека, который наклоняется, берёт мат за угол, складывает его вдвое и несёт к стене. Потом возвращается за следующим. Никто на него не смотрит. Никто не поставит ему это в зачёт, не расскажет про это за ужином гостям, не выложит в сторис с подписью про настоящие ценности.

Он просто убирает зал, потому что зал надо убрать.

Катя поворачивает ключ. Двигатель отзывается низко и ровно, печка начинает гнать холодный воздух, который станет тёплым только через минуту, экран приборной панели загорается, навигатор показывает путь до Остоженки: сорок восемь минут, дорога почти свободна.

Она не трогается с места.

В зеркале заднего вида стоит панельная коробка с облезшей вывеской, и в её окнах горит обычный больничный свет. Левее мерзнут две Лады и «Ларгус» с пятном шпаклёвки на крыле. Над крышей висит фонарь в ореоле мелкой снежной пыли. Ничего примечательного, место, мимо которого она проезжала бы тысячу раз и не заметила.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.